Ирина
Муравьева

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

«Что-нибудь о войне, Гена, – шевельнув ноздрями, попросила Нина Львовна.– А то уж очень мы что-то тут все веселые».

ПРЕМИЯ БУКЕРА
SHORT-LIST

Ирина Муравьева

Веселые ребята

«Эксмо»
2005

Муравьева И. Л.

Веселые ребята / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2005

ISBN 978-5-699-31003-6

Роман Ирины Муравьевой «Веселые ребята» стал событием 2005 года. Он не только вошел в short-list Букеровской премии, был издан на нескольких иностранных языках, но и вызвал лавину откликов. Чем же так привлекло читателей и издателей это произведение?«Веселые ребята» – это роман о московских Дафнисе и Хлое конца шестидесятых. Это роман об их первой любви и нарастающей сексуальности, с которой они обращаются так же, как и их античные предшественники, несмотря на запугивания родителей, ханжеское морализаторство учителей, требования кодекса молодых строителей коммунизма.Обращение автора к теме пола показательно: по отношению к сексу, его проблемам можно дать исчерпывающую характеристику времени и миру. И такой писательский подход неожидан.Очень символично название романа. «Веселые ребята» – это название самой известной советской музыкальной кинокомедии, созданной в отнюдь не веселые времена. «Веселые ребята» И.Муравьёвой – трагикомическое повествование о самом мажорном периоде жизни советского народа. Более того, о довольно трагическом периоде жизни человека – юности.

ISBN 978-5-699-31003-6

© Муравьева И. Л., 2005
© Эксмо, 2005

Содержание

Часть первая 5
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Ирина Муравьева
Веселые ребята

Часть первая

Раздевалка девочек была отделена от раздевалки мальчиков тонкой перегородкой, через которую было слышно все, включая дыхание и шелест чулок. В закутке, общем для обеих раздевалок, стоял запах острого пота, внутри которого плавало множество побочных запахов, начиная от кислого – резины – и кончая горьковатым запахом польских духов «Черная кошка». Сильнее всего пахло от Юли Фейгензон. От ее влажной, в мягких глубоких складках полноты, на которой еле застегивалась старая школьная форма. Мы сидели на одной парте, и каждое движение ее смуглой руки с короткими пальцами, каждое ленивое почесывание ладонью заросшего темным пушком виска или машинальное погружение карандаша в глубину каштановых, с золотом, слипшихся кудрей приводило к тому, что мокрая, в белесых разводах подмышка, высунувшись из складок передника, ударяла по моим ноздрям дикой силы сладковатым неподвижным запахом, который, как мне казалось, и был душой Фейгензон, выражал собою всю ее – девочку из бедной семьи, молчаливую, рано созревшую, которая уже в девять лет носила огромный, серого цвета лифчик, плохо училась и смотрела на мальчиков смеющимися темными глазами в густых ресницах.

Переодеваясь для урока физкультуры, я старалась выбрать лавку подальше от Фейгензон, которая, кстати сказать, на физкультуру ходила редко и каждый свой пропуск объясняла учителю Николаю Ивановичу – бешеному фронтовику – тем, что у нее «это дело». А Николай Иваныч раздувал волосатые ноздри, всем своим нутром переживая то, что приходится выслушивать, и, упершись левым зрачком в ее распираемый мощной грудью передник, махал рукой с плоскими ногтями потомственного алкоголика:

– Ладно!

Она так просто, так доверчиво сообщала, что не сможет ни перепрыгнуть через козла, ни сделать березку, будто Николай Иваныч был школьной медсестрой, а не чужим человеком, мужчиной, чуть было не сломавшим однажды руку Сергею Чугрову за то, что тот, долговязый и неловкий, карабкаясь по шведской стенке, поскользнулся и неожиданно съехал вниз, прямо на шею растерявшегося от неожиданности, но тут же налившегося сизой кровью физкультурника, который изо всей силы схватил Чугрова за руку и так резко рванул ее вниз, что хрустнули все суставы. Наши мальчики обходили Фейгензон вниманием, она была слишком большой, потной и неподвижной, в то время как им до смерти хотелось вертлявых девчонок с тонкими талиями и темными сосками, которые проступали под майками во время все той же физкультуры, когда раскрасневшаяся одноклассница, сверкая глазами, неслась к кожаному, продранному с одного бока козлу, чтобы под одобрительные покрикивания ломких басков перескочить через него, если получится, а если нет, то упасть, будто ее сразила пуля, на блестящий от пота, продавленный мат, вспыхнув полоской кожи между задравшейся майкой и сатиновыми трусами.

В это утро они сидели на лавочке втроем: Фейгензон, Орлов и Чернецкая. Фейгензон было четырнадцать, потому что она поступила в школу немного позже, а Орлову и Чернецкой тринадцать. Кончался март, долгий, промозглый месяц, когда воздух в высоких, наполовину забеленных окнах актового зала наполняется торопливой надеждой непонятно на что, а снег на земле сжимается и темнеет, как стариковская кожа.

В отличие от тошнотворно пахнущей Фейгензон с ее постоянным посмеиванием и мокрым ртом, Чернецкая была аккуратно причесана, быстроглаза, надушена и без устали кокетничала со всеми лицами мужского пола, начиная со свирепого Николая Ивановича и кончая

учителем истории Робертом Яковлевичем, высоким, с тремя скрюченными пальцами, торчащими из обтянутого кожей отростка, – вместо правой руки, и пустым рукавом, засунутым в карман пиджака, – вместо левой. Чернецкая кокетничала и с ним, и с Николаем Ивановичем, и с председателем совета дружины прыщавым Володей, и с милиционером, который руководил переходом через Смоленскую площадь, и с каждым из тех черноусых кубинцев, борцов за свободу и независимость, которые появились однажды в нашей школе на утреннике благодаря ее же, Чернецкой, матери, переводчице с испанского, работающей в Доме дружбы – небольшом, завитом, как улитка, старинном особняке, в котором, говорят, когда-то, еще в прошлом веке, умерла целая дворянская семья, отравившись конфетами.

Чернецкая кокетничала голосом, ресницами, плечами, руками, ногами. Она кокетничала всем существом и по правилам, которые были от рождения впаяны в ее плоть и кровь, а безнадежно отставшие мальчики, не готовые к ее откровенному женскому зову, ошалевали и отвечали на эту вдруг закинутую голову или упавший до шепота грудной голосок своими наивными ребяческими грубостями.

Итак, они сидели на лавочке. Орлов, Чернецкая, Фейгензон. У Орлова был мужской подбородок и темные тяжелые глаза, которыми он внимательно рассматривал все тонкие талии, все крепкие, как шишечки на молоденьких елках, соски, все вспыхивающие бедра. Взгляд этот был намного старше самого Орлова и изнурял его. Он был рассчитан на то, что Орлову не тринадцать, а по крайней мере семнадцать или даже побольше, когда человек уже представляет себе, что ему делать с женскими талиями, чтобы понапрасну не мучиться. Раздался звонок, одновременно с которым Фейгензон тяжело вздохнула и поднялась, а они, слегка касаясь друг друга, продолжали сидеть, словно им и впрямь было важно, чем кончится эстафета, кто быстрей добежит до стенки – Лапидус из команды мальчиков или Карпова Татьяна из команды девочек, поэтому, как только мягкая и неуклюжая Фейгензон поднялась, они одновременно увидели, что влажная лавочка, только что освободившаяся от нее, густо испачкана кровью. Орлов понимающе усмехнулся и заиграл своими тяжелыми темными глазами, а на щеках у Чернецкой вспыхнул сухой красный шиповник.

– Бедные вы, бабы, – вздохнул Орлов, у которого заныл вдруг низ живота и стало кисло во рту. – Достается вам... Бедные...

И преодолевая дрожь в коленях, пошел к двери.

– Куда? – зарычал на него потный Николай Иванович. – А дневник?

– У меня освобождение. – Орлов приостановился. – Зачем вам мой дневник?

– Что-о-о-о? – заорал Николай Иванович. – Ты с кем разговариваешь? На кого голос поднимаешь?

– Я не поднимаю. – Мощный Орлов опустил глаза. Желваки у него заходили. – Я вам объясняю: освобождение после гриппа.

Что померещилось Николаю Ивановичу, Бог его знает. Но – как это бывало всегда, когда подступало бешенство, – он, выкатив наружу застланные кровью белки, рванул Орлова за воротник и с воплем «молчать!» бросил его обратно на лавку. На глазах у Чернецкой, потому что, кроме них, в физкультурном зале никого не было. Но именно оттого, что это случилось на глазах у женщины, которую он только что остро почувствовал, тринадцатилетний Орлов вскочил и басом, не ломающимся, а настоящим, глубоким, хлынувшим из его ходуном заходившего горла, выдохнул прямо в запенившийся рот Николая Ивановича:

– Сам молчать!

И Николай Иванович, на которого неоднократно жаловались пухлой Людмиле Евгеньевне, директору школы, родители тех детей, которых он чудом не изувечил, вдруг действительно замолчал и махнул по своей привычке рукой с темными и плоскими ногтями. Потащился в учительскую, бормоча себе под нос те недожеванные ругательства, которые он бормотал когда-то, сидя, молодым и кудрявым, в гниющем окопе.

– Гена, – задыхаясь, сказала Чернецкая, маленькая женщина, только что присутствовавшая при совершенном ради нее дерзком поступке и жадными ноздрями уловившая запах вызванного ее телом желания. – Разве можно так? Ты же его знаешь...

– А тебя – нет, – спокойно, новым своим, только что прорвавшимся басом ответил Орлов. – Пора бы и нам познакомиться.

Они принялись знакомиться на глазах у обоих классов, слегка растерявшихся от этого столь бурного и откровенного любовного праздника: он смотрел на нее, она смотрела на него, и, если гуляла в перемену под руку с другой девочкой, чаще всего своей ближайшей подругой – длинной, глуховатой Белолипецкой, Орлов неизменно шел сзади, посмеиваясь, прожигая темными глазами ее покатые плечи, узкую спину, маленькие выпуклые ягодицы, взволнованно вздрагивающие от его приклеенного, как горчичник, взгляда. Ясно было, что он ждет не дождется, чтобы скорее закончились уроки и наступила та неуверенная свобода, на которую со всех сторон зарились бывшие фронтовики, инвалиды, матери-одиночки, – вся эта неспокойная учительская шайка, где каждый так и норовил впиться в сладкую детскую душу, вывернуть ее наизнанку, вытряхнуть из нее все не дозревшие еще семена, все нежные косточки, заорать, наливаясь кровью, пристыдить, разодрать когтями, лишь бы отомстить за свое собственное, засиженное навозными мухами, водкой пропахшее детство.

Сразу, как только кончались уроки, смеющийся Орлов норовил подловить Чернецкую в дальнем углу раздевалки и там, среди вороха мокрых, потертых воротников, сброшенных ботинок, клетчатых шарфов, вязаных шапок, прижать ее, розовую, с опущенными глазами, к стене или вдавить ее маленькое нежное тело в гущу растерзанных курток, дождаться, пока она перестанет сопротивляться, застынет под его большими руками, и тогда он, мучаясь разламывающей низ живота болью, начинал осторожно покрывать поцелуями это лицо с узкими глазами молоденькой гейши, острый подбородочек, белую шею, норовя – внутри поцелуя – еще и расстегнуть верхнюю пуговицу коричневого платья и запустить что удастся – руки ли, губы ли – в раскаленную вздрагивающую развилку.

Так они дожили до лета, изнуряя друг друга прикосновениями, обжигая глазами, пока не наступила пыльная московская жара, духота, не слабеющая даже ночью, и в первую неделю июня мама Чернецкой начала стелить себе в гостиной, откуда ей было легче прокрадываться в прихожую, не боясь разбудить чутко похрапывающую в чуланчике домработницу Марь Иванну. В прихожей, где висел большой черный телефон, она торопливо набирала номер и, приглушая голос, зажимая трубку ладонью, по часу шепталась с кем-то, изредка переходя на испанский, постанывала и один раз даже вскрикнула, громко, как голубь, влажно, коряво и глухо, но не испугалась своего крика, потому что мужа ее, отца Натальи Чернецкой, заведующего гинекологическим отделением больницы номер 59, не бывало дома в это время, и где он находился – то ли принимал роды, то ли сам делал детей другим женщинам, – мало беспокоило ее, синхронную переводчицу с испанского языка, прогрызшую себе дорогу наверх, в каменный, завитой, как улитка, Дом дружбы. За несколько этих лет, пока она грызла, еле слышно посапывая от напряжения, торопливо замазывая ярко-малиновой помадой пересыхающие от улыбки и болтовни губы, пришлось мимоходом проглотить нескольких неприятных соперниц, норовивших туда же, куда и она, так же, как она, терпеливо подскакивающих на чужих матрасах внутри чужих дач рядом с чужими, хрипловато икающими от белуги мужьями, которые, в конце концов, и решали, которая из этих женщин подскочила выше других и с кем из них можно, как говорится, идти в разведку.

Она победила соперниц – тихо, умно, незаметно, и тут же он стал безразличен ей – ее собственный муж с оттопыренными от благодарных денег карманами, потому что теперь она уже не только сама получала подарки – духи, мохеровые кофточки, блестящие колготки, – но оказалась выездной, начала ездить на Кубу, где иногда даже сходила за свою из-за черных глаз

и испанского темперамента, в то время как настоящие свои – тоже черноглазые и темпераментные – отдавались советским морячкам за бутылку водки и флакон одеколона. О девочке, спящей под зорким присмотром Марь Иванны, мягко и празднично закруглевшей своей уже не вполне детской плотью в эту последнюю зиму, она заботилась ровно настолько, насколько нужно было заботиться о ребенке молодой энергичной женщине, с головой ушедшей в работу, но каждый раз, когда черноусые кубинские друзья спрашивали ее о семье, радостно отвечала, что у нее есть дочка, и тут же показывала фотографию, искренне любуясь нежным, излучающим свет изображением: она сама и ее девочка, сидящие в обнимку под русской березой. Черноглазой грызунье не приходило, разумеется, в голову, что каждый раз, когда она босиком прокрадывается в коридор позвонить, девочка со свесившимися набок спутанными каштановыми кудрями приподнимается на локте и, призакрыв узкие глаза, изо всех сил прислушивается к голубиному материнскому клекоту.

Они занимали большую профессорскую квартиру – Неопалимовский переулок, дом 18 дробь 2, – и сначала с ними жили родители ее мужа, которые постепенно умерли, первой – мать, а прошлым летом отец, тоже гинеколог, очень известный, не боящийся даже делать аборты прямо у себя в кабинете, превращенном после его смерти в комнату внучки.

В дни, когда предполагался аборт, Марь Иванна, в чистом хлопчатобумажном платке, с твердо поджатыми тонкими губами, уводила маленькую женщину Чернецкую гулять на Девичку – так назывался сквер, где она, твердогубая, крепкорукая Марь Иванна, глаз не спускала с аккуратной золотисто-коричневой головки, единственной радости своей осиротевшей жизни. Двадцать шесть лет было Марь Иванне, когда она, похоронив быстро умершего от непонятной болезни жениха, попала в город, долго скиталась по чужим домам, мыкалась по чужим семьям, пока не очутилась наконец в Неопалимовском переулке, дом 18 дробь 2, где через год после ее прихода родилась у молодой хозяйки Стеллочки чудо-девочка с узенькими глазами. Тут Марь Иванна успокоилась и стала эту девочку растить. Поначалу ей помогала профессорская жена Любовь Иосифовна, иссушенная ревностью, старая, седая, с роскошными, до старости сохранившимися волосами, но потом она начала болеть, чахнуть, ездить по бесконечным санаториям, и силы на внучку закончились. Хорошо, если почитает ей перед сном какую-нибудь книжечку, Стеллочки-то и вовсе не бывало дома.

После смерти Любови Иосифовны муж ее, выйдя на пенсию, продолжал принимать больных у себя в кабинете, а все аборты назначал почему-то на пятницу. Марь Иванна уводила Чернецкую гулять и, возвратившись, накрывала обедать в гостиной. Усаживались втроем: дед, домработница и ребенок – внучка. После супа старый профессор шел в свой кабинет и говорил лежащей на кушетке, слегка всегда окровавленной (ноги с внутренней стороны), безобразно бледной пациентке:

– Можете потихоньку вставать и идти домой. Подымется температура – звоните.

Никто и никогда не убирал у него в кабинете после аборта, даже Марь Иванна не допускалась, и маленькую женщину Чернецкую до тошноты испугало однажды то, как дед появился с мокрой и бурой от крови тряпкой в руках, сгорбившись, быстро прошел мимо них с Марь Иванной, опустил глаза, скользнул в уборную и там долго, с силой дергал за ручку, – вода лилась мощно, бурно, а дед все не выходил, и, когда наконец вышел, на лице у него было сердитое выражение.

В июне оба восьмых класса – «А» и «Б» – отправились в трудовой колхозный лагерь для прохождения летней практики с воспитательными целями. Лагерь был разбит на опушке леса в километре от деревни, сорока километрах от города, жить нужно было в палатках, вставать почему-то в шесть, а ложиться в десять, злобно кусались комары, особенно малярийные, в палатках было душно, старые девы – учительницы (Нина Львовна, Галина Аркадьевна) терзали

комсомольцев днем и ночью, смягчаясь только тогда, когда начинались песни у костра, и в частности «Синий троллейбус».

Под «Синий троллейбус» неистовые старые девы опускали глаза, начинали перебирать своими неухоженными пальцами края самовязаных ядовито-розовых или тускло-серых с коричневым свитерков, неуверенно подтягивать неверными голосами и, растворяясь своими никем не целованными, никому не понадобившимися телами с клубочками глубоко запрятанных, сморщенных душ в гитарной истоме, чувствовали, что все еще может перемениться, стать голубым и зеленым, и тогда их доцелуют, долюбят, воскреснут Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой, которые были им, здоровым и плотно сбитым педагогам Нине Львовне и Галине Аркадьевне, предназначены, а вот не вышло, не сбылось, лежат в земле сырой, а поверх отвоеванных у фашистов полей стелется туман, и плывут по нему черный буйвол, и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем тра-та-та-та-та-та-та живу?

И Нина Львовна, и Галина Аркадьевна не сразу поняли, что происходит между Орловым и Чернецкой. Многое сбивало с толку. Во-первых, Чернецкая была большой активисткой и отличницей, на которую не хотелось сердиться, потому что были для этого другие – неприятные, несговорчивые девочки, например Соколова – огромная, с огненного цвета тяжелой, в жестких кольцах, косой, которая всегда была растрепанной, а щеки бордовыми, а смех оглушительным, и никогда он не умолкал, этот смех, даже ночью, когда, казалось, все уже давно заснули, и тут вдруг, в боковой палатке, вспыхивал хохот дикой и бессовестной Соколовой. Кроме нее было еще несколько таких же, отвратительных для Галины Аркадьевны и Нины Львовны, будущих женщин, ироничных, насмешливых, застенчивых, себе на уме, которые не желали понимать (так уж, наверное, были воспитаны!), насколько все вообще должны быть благодарны нашей советской власти, и вместо этого усмехались, переглядывались с такими же, как они, замкнутыми и насмешливыми мальчиками во время политинформации или когда приезжали в школу уважаемые люди. Мать Зои и Шуры Космодемьянских, например, или любимая девушка бесстрашного весельчака Сережки Тюленина, замученного вместе с Олегом Кошевым, эта самая Валентина, о которой великий писатель Фадеев написал (ах, весна, вишни цветут, жить бы да жить ребятам!), написал Фадеев, что у нее на ногах был золотистый пушок, и Сережка, весельчак, бесстрашный (жить бы да жить!), прямо перед выполнением ответственного задания комсомола полюбовался еще раз этим золотистым пушком, и потом ему было что вспомнить в фашистском застенке, когда иголки загоняли под ногти, кипяток лили на голову... Было что вспомнить.

Ну и что же, что сама Валентина читала о Сережке Тюленине по тетрадке, а ноги у нее были как два сучковатых полена? Ну и что же, что – сутулая, неприветливая, в коричневом берете, – дочитав, она курила папиросы «Север» – одну за другой – прямо в актовом зале, не стесняясь детей, и явно норовила поскорее улизнуть, напялить на свою горбатую спину прокуренное пальтишко? Человек через такое прошел, потерял единственно любимого, сохранил ему верность – отсюда и горб, и берет, отсюда и «Север»! – а всё ради нас, неблагодарных, ради нашего будущего, веселые ребята, и в ноги нужно поклониться такому человеку, в ноги, с пушком ли, без пушка ли, но именно в ноги, и чтобы клятву принести, звонкую комсомольскую клятву... Ах, синий троллейбус!

Сердиться на Чернецкую не хотелось, она была правильно воспитана своей мамой Стеллой Георгиевной, переводчицей с испанского, которая работает с группами кубинских борцов за свободу и независимость. Ездит с ними вместе на Кубу, остров зари багряной.

Слышишь? Идут барбадос? В небе та-та-та их огненный стяг... Слышишь ты или нет, в конце концов?

А такая ведь могла бы получиться избалованная девочка, потому что и домработница у нее (Марь Иванна свою Наташечку не оставила, пристроилась в лагерь поварихой!), и квартира у них великолепная, три комнаты в Неопалимовском, с роялем (дедушка с бабушкой в

четыре руки играли!), и кофточки – ни у кого таких нет, даже у директора школы Людмилы Евгеньевны, – а она, Чернецкая, несмотря ни на что, скромная, приветливая, первой вступила в комсомол, и родители у нее – такая красивая пара, еще много лет должно пройти, пока все наши советские семьи будут такие красивые, да хорошо одетые, да так уметь себя вести, как эти...

С Орловым было труднее. Орлов, хоть и считался по возрасту мальчиком, по сути своей был, что называется, настоящим мужиком, и то, что внутри у него мужик этот ходуном ходит, ощущалось даже Галиной Аркадьевной и Ниной Львовной, заставляя их подтягиваться в орловском присутствии, взвешивать слова, краснеть и приглаживать волосы. Посомневавшись, классные руководительницы сошлись на том, что у нас в лагере началась Большая Человеческая Любовь и мешать ей нельзя, потому что она Чистая.

Прикрытые своей Большой и Чистой Любовью, Орлов и Чернецкая ходили как пьяные.

В шесть часов на линейке, когда роса крупными каплями пылала в траве, а в деревне за километр заходились петухи, Орлов самодовольно оглядывал заспанных девочек, только что содравших с волос большие железные бигуди и наскоро накрасивших ресницы. Потом зевал и отворачивался. Вскоре, однако, взгляд его загорался: Чернецкая, всегда немного опаздывающая, подпрыгивая на бегу, торопилась из своей палатки, только что разбуженная добросовестной Марь Иванной. Этим загоревшимся взглядом Орлов неторопливо осматривал с головы до ног каждый каштановый волосок ее, каждую припухлость, изгиб, складочку, облизывался своими большими, вывернутыми губами – желваки его вздрагивали, – а наши угловатые мальчики, остро чувствуя, как далеко он ушел от них по пути мужества, прочищали свои прыщавые горлышки ломким кашлем и перешучивались. Вечером, у костра, девочки усаживались в первый ряд, поближе к огню, мальчики во второй, но оказывалось как-то так, что Орлов сперва сидел, тесно прижимаясь боком к Чернецкой, неподвижно глядящей в огонь, потом он раскладывался – полулежа, опираясь на локоть, – между нею и всеми остальными, заслоняя ее собой, отвоевывая пространство, потом, словно бы забывшись, сгибал локоть, падал затылком на ее колени, руки заламывал за голову, так что в конце концов ладони его соединялись за ее узкой спиной, но тут все настойчивей и настойчивей становились голоса, призывавшие синий троллейбус, потому что благодаря синему троллейбусу все на свете становилось чистым.

Никто из комсомольцев не знал, однако, было ли между ними «всё».

Галина Аркадьевна и Нина Львовна оказались, разумеется, дальше всех от истины, уверенные, что мальчик и девочка – да! – могут дружить, а потом, когда вырастут и поймут, что дружба (она же Любовь!) настоящая, они обменяются кольцами (можно и без колец: ни у Сережки Тюленина, ни у Ульянки Громовой никаких колец не было!), и тогда разрешается им поцеловаться и потом что-то «такое еще» (очередь на двуспальную кровать была на несколько лет дольше очереди на «Хельгу»), что-то «такое еще» разрешается в этой самой кровати, в длинной нейлоновой ночной рубашке, иногда выплывающей, как привидение, в центре ГУМа у фонтана (отдел женского белья и постельных принадлежностей), а уж после «такого еще» улыбающаяся Чернецкая придет в родную школу с голубой колясочкой. Ах, кто это там? Вася, да? Василёк! Ну, поздравляем!

По ночам в лагере дежурили: две девочки и двое мальчиков. Каждой четверке отводилось по два часа. С десяти до двенадцати, с двенадцати до двух, с двух до четырех и с четырех до шести. Ночи были холодными. Озябшие дежурные неизвестно зачем слонялись в тумане, прислушивались, чтобы никто внутри палаток не разговаривал, останавливали тех, кто, спотыкаясь, шел в уборную, спрашивали, куда идет и зачем, потом перемещались на пустую кухню – царство чутко дремлющей Марь Иванны. В кухне разрешалось выпить по стакану чая, согреться, там же травили анекдоты, играли в морской бой, иногда мальчики закуривали, если доверяли тем девочкам, с которыми дежурили, но бывало, что девочки доносили, и тогда на следующий день собиралась экстренная линейка, преступника вызывали на середину лужайки,

приказывали стать рядом со знаменем и честно, всем, вслух, громко рассказать, как он дошел до того, чтобы закурить. Галина Аркадьевна и Нина Львовна, с лицами красными, как у вампиров, задавали свои вопросы тихими металлическими голосами и с таким неподдельным ужасом, словно воскресшего Витьку с Моховой застукали на любовнице:

...может быть, ты, Иванов (Петров, Сидоров, Лапидус), решил, что без курения жить не можешь? Так ты нам так и скажи! Или, может быть, ты чувствуешь, что мнение товарищей для тебя больше не авторитет? Может быть, тебе все равно, примут тебя в комсомол или не примут? Ты, может быть, можешь прожить жизнь и БЕЗ комсомола? Без? Ну, говори!

Ах, если бы обратно, в серые костлявые времена, поглубже куда-нибудь, чтобы без разговоров, без поблажек, а запалить костер до самого неба – и туда его, негодяя, курильщика малолетнего, стилягу, в огонь его, чтобы косточки обуглились, чтобы кожей запахло! Стоишь вот, мерзавец, и советская власть тебе нипочем, и за комсомол не умрешь, и для партии жизнью не пожертвуешь, стоишь, с ноги на ногу переминаешься, на губах ухмылочка, а в твои годы другие ребята кровь свою проливали, крови своей не жалели, чтобы ты сейчас, мерзавец, стиляга, мог переминаться спокойно, чтобы над твоей головой никакие американские истребители...

Все это так и хрипело, так и свистело – того гляди вырвется! – в булькающих глотках Нины Львовны и Галины Аркадьевны, но они сдерживались, ненависть выходила беленькими пузырьками из уголков рта, и только дикой жадностью наполнялись их неистовые глаза, когда активисты наши – настоящие ребята! – снова и снова просили разрешения выступить, и шел суд над мерзавцем-курильщиком, шел при блеске луны, в соловьином пении!

...что ж ты, значит, не дорожишь ни мнением своих товарищей, ни мнением своих педагогов? Ты, что же, хочешь быть похожим на этих западных стиляг, американцев этих, которые из рук сигарету не выпускают? А ты подумал, почему они курят? Ты их жизнь себе хоть на секунду представил? С безработицей? С трущобами? А та-та-та... У-ту-ту-ту... Нет, он еще усмехается! А в глаза почему товарищам не смотришь, почему? Тебе же все равно не стыдно!

Маленькая полногрудая Чернецкая тоже тянула вверх правую руку с продолговатыми ноготками, тоже хотела выступить, осудить и звонким своим, нежным, томящимся голоском пела, как все, про предательство идеалов, про влияние Запада, а умные молчаливые мальчики иронически поглядывали на молодого Орлова – как же ты, мол, с идиоткой-то, – на что молодой Орлов усмехался снисходительно, опускал глаза, крутил головой, давая понять, что не следует требовать ума от женщины, не следует, не этим они сильны, женщины...

То, о чем даже и подумать не могли без отвращения Нина Львовна и Галина Аркадьевна, давно уже стало фактом действительности, и нежная плоть узкоглазой Чернецкой изо дня в день содрогалась под сокрушительными ударами мощной плоти стремительно взрослеющего Орлова. Место страсти – вихрастый, молоденький ельник за оврагом – было выбрано, и все меры осторожности соблюдались, потому что – правильно рассудил молодой Орлов – никто не будет перебираться через овраг, чтобы их там застукать, рядом были места куда гуще, и, казалось, уж если прятаться, так в этой непролазной густоте, а они по камешкам, по жердочкам, которые потом сами же и убирали, переходили на ту сторону, падали в поросшую густой синезеленой травой впадину, и никто, кроме черноглазых птиц, торопливых белок да волосатых гусениц, не знал, каким огнем наливались сильные пальцы Орлова, когда он, дрожа от нетерпения, рвал кнопки, путался в тесемках ее женственных и невинных, терпеливой Марь Иванной сшитых платьиц, обеими руками оттягивал от горячих висков ее цвета молочного шоколада пушистые косы, и ни просвета не оставалось между их соединившимися, бурно и ладно дышащими под одобрительный шум деревьев телами. Правы были умные мальчики, когда подбрасывали брови к небу, выражая свое удивление по поводу выступлений активистки Чернецкой на комсомольских собраниях, ее вечно поднятой руки с серебристыми ноготками, но трижды прав был Орлов, который уверенно брал ее за эту руку, переводил, а иногда – скрежеща зубами от уже невыносимого желания – как пушинку переносил через темную, нагретую, настоявшу-

юся воду оврага, бросал в сине-зеленую травяную впадину и сам бросался в другую, горячую, как огонь, нежную впадину между ее вполне уже женскими маленькими ногами.

Их, разумеется, неоднократно видели вместе возвращающимися из лесу, с розовыми пятнами на лицах, с опущенными глазами, но настолько маловероятным было превращение этой отличницы, с которой пылинки сдувала жилистая, в чистом хлопчатобумажном платке нянька, в беспутную маленькую женщину, от рождения владеющую всеми ухватками портовой проститутки, так далека была эта ничего не стыдящаяся портовая проститутка от старательной узкоглазой восьмиклассницы, что весь лагерь как заколдованный твердил подмороженную фразу «у них любовь» и не вдавался в подробности.

В деревне, расположенной неподалеку от лагеря, наступил между тем праздник Ивана Купалы, Иванов день. Сладко пахло клевером с поля, шумели камыши, гнулись деревья, казалось, что еще немного – и разразится гроза, хлынет ливень, мутный, серебристый, белый, с ледяным, в яблочную величину, градом, и тогда уйдет вместе с ним, растворится в расползшейся земле, в слизистых травах невыносимое какое-то раздражение, в котором злости было столько же, сколько восторга, и все хотелось непонятно чего: разломать, разрыдаться, убежать куда-нибудь, зацеловать кого-нибудь до смерти...

Нина Львовна и Галина Аркадьевна ходили настороженные, вытянув гусиные шеи, шипели, чтобы сегодня никто не переступал черту лагеря, а надо готовиться к родительскому дню, доделать стенгазету, разработать план военной игры на следующее воскресенье, короче, чтобы все сидели тихо, пока там, вдали, за рекой отгуляют свое, отбезобразничают, отголосят и улягутся спать. На всякий случай собрали линейку. Мальчики пришли хмурые, пыля кедами, на девочек не смотрели, переминались с ноги на ногу. Галина Аркадьевна – помоложе Нины Львовны – уронила уголки рта, плаксиво сморщила щеки, все старалась поймать в воздухе бархатные зрачки самого высокого из всех, самого мускулистого комсомольца Михаила Вартаняна, которого задыхающаяся от быстрой ходьбы бабушка провожала ежедневно до дверей школы, ловя усатым ртом воздух, засовывала ему в портфель горячие, жирные пирожки. Бедная Галина Аркадьевна, сама не понимая, что с ней, давно уже вспыхивала, как красная смородина, исподтишка разглядывая Вартаняна так, как заботливые хозяйки разглядывают разложенные на прилавке мясные туши: взволнованно, с любовью и тревогой прикидывая, что пойдет на холодец, из какой части накрутить солоноватых котлеток... По простодушию своему Михаил Вартанян часто отвечал Галине Аркадьевне на ее бегающие влажные взгляды, особенно во время контрольных по математике, когда все лбы наклонены к тетрадкам, он, как загипнотизированный, поднимал волосатую свою, не дозревшую до любовных загадок голову, и по три-четыре минуты они с Галиной Аркадьевной смотрели друг на друга, пока он не начинал недоуменно ерзать на парте, а она, покрывшись лишаями румянца, отворачивалась, чтобы судорожно протереть тряпкой и без этого чистую доску.

Однако сейчас, на линейке, Вартанян смотрел себе под ноги, словно – пока шел от палатки к поляне – вдохнул он предгрозового сердитого воздуха, возмужал, отравился и теперь, хоть вы режьте его, не желает замечать круглых, с шипящим угольком раздражения внутри, учительских взглядов.

– Если, – вскрикнула Нина Львовна, – сегодня к нам в лагерь придут ребята из деревни и попросят у вас чего-то...

– Чего? – расхохоталась неуправляемая Соколова. – Воды попить?

Нина Львовна сглотнула кусок кислой, как недозрелая антоновка, ярости.

– Сегодня ребята в деревне могут быть нетрезвыми, и поэтому разговаривать с ними ЗАПРЕЩЕНО!

Все вроде поняли, разбрелись по палаткам. Через десять минут вышел, позевывая, молодой Орлов, оборотил лицо к небу, улыбнулся во всю широту самоуверенного рта, побрел нето-

ропливо в сторону уборной. Еще через пять минут выскочила узкоглазая Чернецкая, угодила прямо в объятия беспокойной Марь Иванны (та шла к ней из кухни, несла на вытянутых руках похожую на свежеиспеченный «наполеон» стопку кружевных выглаженных трусиков), звонко расцеловала старуху, прощебетала что-то, заморочила голову, и умчалась неведомо куда золотая крутобедрая тучка.

За ужином Галина Аркадьевна обнаружила пропажу Юли Фейгензон. Бросились в палатку. Обшарили все кусты неподалеку. Разбились на шестерки, вооружились фонарями.

– Фейгензон! Фейгензон! – мучились классные руководительницы.

Им вторили ломкие голоса несерьезных мальчиков:

– Юль-Юль-Юлья-я-я!

– Юля-я-я?! – ахали девочки, слепя друг друга ненужными фонарями. – Ты где?

– Родит, тогда вернется, – пробормотал наконец Орлов и, заметив, что у Чернецкой развязался шнурок на беленькой заграничной тапочке, не стесняясь, опустился на корточки, завязал шнурок и, как птенца, поймал в ладони дрожь ее нежной щиколотки.

Чернецкая тяжело задышала.

– Что ты сказал, Орлов? – Из липового дупла высунулась Нина Львовна. – Умнее всех хочешь быть?

– Я? – удивился Орлов. – Я разве что-то сказал?

– Доиграешься ты, Орлов. – Она дернула шеей. – Мать твою жалко.

Вдруг кто-то спохватился, что Фейгензон видели «за чертой лагеря» во время тихого часа: стояла как миленькая, балакала с тремя деревенскими. Может, с ними и ушла? Нина Львовна и Галина Аркадьевна переглянулись.

– Всем – в палатки, никуда не выходить, – хрипло приказала Галина Аркадьевна. – Вечерняя политинформация отменяется. Мы с Ниной Львовной идем в деревню. С нами пойдут четверо: Вартанян, Орлов, Лапидус и Лебедев.

До деревни было чуть больше километра. Гроза так и не разразилась, хотя в воздухе по-прежнему стояло тяжелое душное марево, и казалось, что сам этот воздух, уже вечерний, не серого и не черного, а густо-розового, с малиновыми разводами внутри, цвета. Дико и весело разрывалась гармошка рядом с недавно отстроенным, тошно пахнущим краской помещением клуба. У крыльца толпились люди среднего возраста, все крепко выпившие, все принаряженные. Белоголовые дети с остановившимися глазами жались к материнским подолам, сосали липкие кулачки. Одна из женщин, полная, с очень красным, блестящим от пота лицом и широко расставленными глазами, вдруг отчаянно взвизгнула, сорвала с головы цветастый платок, открыв жиденький пробор, круглый гребень, и, топнув ногой, завертелась на месте, выкрикивая частушку:

Вы не пойте длинных песен, хватит с вас коротеньких,
Не... старых девок, хватит с вас молоденьких!

Нина Львовна поджала губы, Галину Аркадьевну передернуло. Празднично одетые колхозники заметили гостей:

– Лагерники пришли! Московские!

– А бабочки гладкие, поди, прыткие! – натруженным горлом хрипнул высокий мужик в засаленной кепке, шатаясь и часто сплевывая. – Я б, растудыть вам тудыть, не побрезгую!

Вокруг одобрительно засмеялись.

– Мы ищем одну из своих учениц, – громко сказала Нина Львовна, – крупная такая девочка, кудрявая...

– Жидоватая? – уточнил мужик и снова сплюнул, густо, желто, обильно, прямо под ноги Нине Львовне. – Кучерявая?

– Да, – обмирая, сказала Нина Львовна.

– Не тута ищете, – расхохоталась та, которая пела частушку, и бессмысленно-радостно затараторила: – Ой, не тута, ой, не тута! Ой, не ту-у-ута!

– А где? – строго перебила Галина Аркадьевна.

– В лесу шастают, – махнула ладошкой певунья, – у их, у робят, там костры жгуть! Вона-а-а туда идите, тама она, жидоватая! А не тута! Ой, не тута, ой, не тута!

Через пятнадцать минут глазам Галины Аркадьевны, Нины Львовны, а также Орлова, Лебедева, Лапидуса и Вартаняна предстала страшная картина. (В сорока пяти километрах от Москвы. В тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. Через пятьдесят лет, в общем, великой победы революции.) В центре поляны сверкал высокий – до черного, беззвездного неба – костер. Рядом с костром громоздилось сделанное из пестрых тряпок, бумаги и дерева чучело быка, голова которого была перевита венками из свежих ромашек и папоротника. Трудолюбивая колхозная молодежь, вся вусмерть пьяная, – парни в трусах, девки в трусах и лифчиках, – суетилась вокруг огня, выкрикивая непристойности. Везде валялись пустые бутылки, недоеденные караваи хлеба, куски пирогов и лепешек.

– Давай, тащи ее сюда, сучару! – беззлобно орали двое парней во глубину леса. – Ща мы ее, ведьмаху, подпалим!

Еще один парень – маленького роста, почти карлик, с огромной, непропорциональной туловищу бугристой головой, – стоял спиной к московским гостям и, вздрагивая ягодицами, мочился в огонь.

– Степа, не загаси! – хохотнула одна из девок и звонко шлепнула его между лопаток – А то святый Иван рассерчает!

Нина Львовна схватилась за левую грудь, словно собираясь подоить самую себя, а Галина Аркадьевна закричала неожиданным низким басом:

– Фей-ген-зон!

Тут наконец они и увидели Фейгензон. В одной короткой рубашке, с распущенными кудрявыми, почти достающими до земли волосами, Фейгензон, шатаясь, вышла на поляну из лиственных зарослей. Двое парней обнимали ее справа и слева, а третий поддерживал сзади, чтобы она не свалилась.

– Ща тебя будем бабой делать! – вне себя от восторга закричал карлик и торопливо подтянул спущенные штаны. – Чур, мужики, я первый!

– Ми-ли-ци-и-и-я, – застонала Галина Аркадьевна, – где ми-ли-ици-ия...

Увидев, что за ней пришли, и залившись смехом, будто ее щекочут, Фейгензон вырвалась и бросилась обратно в лес. Слышно было, как под ее тяжелыми босыми ногами затрещали сучья. Парни с ревом побежали за ней. Девки, видимо, нарочно не обращая никакого внимания на незваных гостей, сплели хоровод и, спотыкаясь, пошли вокруг огня:

– А мы просо сеяли, сеяли! – визгливыми голосами заорали девки.

Тогда Галина Аркадьевна твердо сказала простодушному Вартаняну:

– Иди.

Вартанян исподлобья посмотрел на нее пушистыми глазами, и все четверо мальчиков осторожно двинулись к лесу. Нина Львовна перегородила им дорогу.

– Куда вы их посылаете, Галина Аркадьевна? На верную смерть! Назад!

– Милиция! – крикнула Галина Аркадьевна, и на поляне, как ни странно, появилась милиция.

Похожий, если верить портретам, на поэта Лермонтова, широкоплечий и кривоногий, очень молодой лейтенант влетел на поляну, еле сдерживая шумный и взмыленный свой мотоцикл.

– Всем стоять! – проорал лейтенант и, ломая кусты, исчез в зарослях.

Хоровод приостановился.

– Ну че? – спросила одна из девок, большеротая, с красными косматыми бровями. – Че вам здесь надо-то было? Только бы вот нагадить!

Милиционер выволок из леса голую Фейгензон. Она махала обеими руками и заливалась хохотом. Нина Львовна проглотила рыданье:

– Товарищ участковый, вы разрешите нам забрать эту девушку обратно в лагерь? Завтра мы свяжемся с родителями, сообщим на работу отцу...

– Не положено. – Милиционер угрюмо поскреб кадык. – Не по правилу. Вам за эту девушку тоже отвечать придется. Я в том смысле, что она, может, и не девушка вовсе...

Галина Аркадьевна и Нина Львовна подпрыгнули, будто им подожгли подошвы.

– Товарищ участковый! Вы что, хотите отправить ее в милицию?

– В вытрезвитель ее, вот куда, – нахмурился милиционер. – А завтра разбираться...

– Но ей же четырнадцать лет! – промычала Нина Львовна. – Она несовершеннолетняя!

Несовершеннолетняя Фейгензон отвернулась, разинула пухлый рот, и ее начало тут же выворачивать наизнанку.

– А-кх-кх-х! – захлебывалась Фейгензон. Плющ перепачканных волос прилипал к груди. – Ак-х-х, ма-ма-а-а!

– Забирайте! – отрезал милиционер. – И завтра чтобы все были в отделении. Протокол будем составлять. И это... Медицинский осмотр в больнице. Тоже. А я тут покамест по именам всех перепишу.

– Че нас переписывать-то? – огрызнулась большеротая, с косматыми бровями. – Мы не убили никого. Иванов день сегодня.

– Кого день? – гаркнул милиционер. – Что за праздник такой? Где надыбали?

– Че надыбали? – загалдели девки. – Он отродясь был! Че нам, Парижскую коммуну, че ли, с вами праздновать?

– А эта как к вам попала? – раскалялся милиционер. – Школьница?

– Школьница? – захохотала косматая. – Эта школьница с нашим Подушкиным вторую неделю е...ся!

– Ложь! – взвыла Нина Львовна и вне себя замахнулась на краснобровую. – Лжешь ты, гадина!

– Отставить! – побагровел милиционер. – Вы мне тут еще своих порядков понаделайте! Мне в гробу видать, что вы с Москвы! Я вам по-русски говорю: забирайте ее и чтобы завтра к десяти утра все в отделении были! А я уж тут сам разберусь, не вашего ума, как говорится. Тут сообщать нужно куда следует. Чтоб по правилам.

В полном молчании, ярко освещенные желтой, до отвращения похожей на бровастую девку луной, вернулись в лагерь: нетрезвая Фейгензон, которая начала вдруг громко икать, бледные, как покойницы, Нина Львовна с Галиной Аркадьевной и четверо мальчиков, от стыда словно бы одеревеневших. Фейгензон всю дорогу шла очень неровно, пошатывалась.

Этой ночью в лагере не заснул ни один человек. Марь Иванна, причитая и сплевывая, отвела Фейгензон на кухню, напоила чаем, уложила в своей палатке на раскладушке. Фейгензон провалилась в забытье, но все продолжала метаться и всхлипывать. Тогда Марь Иванна вызвала на разговор Чернецкую, прижала ее к костлявой груди, заглянула в убегающие от вопросов глаза:

– Ты-то смотри, – плаксиво и грозно сказала Марь Иванна, – ты-то у меня смотри, чтоб без глупостей! Это ведь какие дела? Один раз не уследишь, и всё! Кто ее, такую, теперь возьмет?

Маленькая Чернецкая вспыхнула в темноте.

– Понимаешь или нет, об чем разговор-то? – возвысила голос Марь Иванна. – От этого безобразия и дети бывают, и болезни разные! Чтоб тихо сидела у меня! Шляться чтоб не смела без спросу!

– Хорошо, – тоненько ответила Чернецкая и укусила кончик своей пушистой каштановой косы.

Утром, на рассвете, пошел чуть живой розоватый дождик, а небо стало таким низким, что край его зацепился за котел с дымящейся и слегка подгоревшей кашей, который двое дежурных по кухне выволокли и поставили прямо на земле – остудить. На линейке – в восемь, а не в шесть из-за дождя – Галина Аркадьевна и Нина Львовна, не вдаваясь в подробности (ночью ими было принято совместное решение не предавать дело огласке), сказали только, что в лагере случилось ЧП: безобразное поведение Юли Фейгензон (Фейгензон стояла посреди лужайки с опущенной головой) привело к тому, что ее заманили на праздник, который справляют отсталые деревенские ребята, там она первый раз пригубила спиртного, и вот что вышло. Ее товарищи должны решить, как повлиять на Фейгензон, которой наплевать, что в ее возрасте другие девушки и ребята проливали кровь за то, чтобы не было ни спиртного, ни отсталых деревенских праздников.

Втайне ото всех Галина Аркадьевна и Нина Львовна решили после линейки самостоятельно отправиться в милицию, пасть на колени перед вчерашним кривоногим, умолять его не сообщать ни в школу, ни в больницу, не делать никакого медицинского осмотра, потому что так или иначе, но Фейгензон все равно должна была потерять самое дорогое, что есть у любой советской девушки, потому что давно созрела физически, и кроме того, она собирается после восьмого класса идти в техникум, а там ученицы ведут себя как взрослые, и, наконец, если сделать случившееся предметом всеобщего достояния, это может стать ужасным примером для остальных комсомольцев, а Нина Львовна и Галина Аркадьевна останутся без работы. Притом что у Нины Львовны на руках старуха мать, а у Галины Аркадьевны и того хуже: мать и древнейшая тетка.

Целую ночь Галина Аркадьевна убеждала Нину Львовну, что рыжая бровастая девка просто сболтнула и никакой Подушкин ничего ТАКОГО не сделал, но Нина Львовна, с каплями пота на длинном носу, была уверена, что сделал, и все повторяла: «Вот увидите, вот вы последняя и увидите!»

Растерявшиеся комсомольцы только-только начали придумывать, какими словами осудить неправильное поведение Фейгензон, как на лужайку въехали сразу две машины: черная «Волга» и серый, заляпанный грязью «Москвич». Через минуту подкатила еще одна машина – милицейская. За рулем ее сидел вчерашний, обозленный и нахмуренный, лейтенант. У Нины Львовны и Галины Аркадьевны подкосились ноги. Из серого «Москвича» вылезла Людмила Евгеньевна, директор, с маленькими пухлыми руками, в круглых очках, которые делали ее похожей на лягушку, за ней завуч Зинаида Митрофановна, высокая, на прямой пробор, с морщинистым провалом рта, густо набитым золотыми и металлическими зубами, потом бешеный физкультурник Николай Иваныч (он-то и вел машину) и наконец – осторожно, бочком, хмурясь и посмеиваясь, придерживая подбородком наброшенный пиджак, вздрагивая изуродованной воробьиной лапкой вместо руки, выпрыгнул историк Роберт Яковлевич с таким выражением лица, будто его всю дорогу знобило. Черная «Волга» стояла как неживая, ничего не было видно за затемненными стеклами. Никто из нее не показывался.

– Все свободны, – розовым накрашенным ртом сказала Людмила Евгеньевна. – За территорию лагеря не выходить. А вы, – она дернула подбородком в сторону Нины Львовны и Галины Аркадьевны, – и ты, – блеснула выпученными стеклами в сторону Фейгензон, – пойдемте с нами.

Двинулись в столовую: директор Людмила Евгеньевна и Зинаида Митрофановна, завуч, – обе гневные, с высоко поднятыми головами, Николай Иваныч, набычившись, и Роберт Яковлевич с глазами грустными и усталыми, который все замедлял шаги и старался, чтобы идущие сзади Нина Львовна, Галина Аркадьевна и Фейгензон присоединились к остальным, но они еле-еле перебирали ногами и шли как на казнь.

– Так! – звонко сказала Людмила Евгеньевна. – Мы здесь не одни. В этой машине, – она ткнула толстеньким пальчиком в сторону неподвижной черной «Волги», – находятся товарищи из роно. Они ждут, пока мы с товарищами, пока мы с Зинаидой Митрофановной, Николаем Ивановичем и Робертом Яковлевичем узнаем все подробности безобразного поступка и безобразных последствий безобразия. – Она подавилась комком мокрого лесного воздуха. – То, что здесь происходит, очень даже возможно закончится судом и отдачей под суд виновных.

Нина Львовна рывком приподняла ладонью тяжелую левую грудь по своей всегдашней привычке и громко ахнула.

– Сначала пусть расскажет Фейгензон, – приказала Людмила Евгеньевна. – А мы послушаем!

– Я извиняюсь, – откашлялся Роберт Яковлевич. – Сначала, я думаю, нужно выслушать мнение педагогов...

– Вы, Роберт Яковлевич, – вскрикнула Зинаида Митрофановна, щелкнув верхним зубом, золотым и богатым, о нижний, металлический, попроще. – Вы, Роберт Яковлевич, не давайте воли национальным пристрастиям. Не давайте! Выше надо подыматься, выше! Недалеко вы подыметесь на национальных пристрастиях!

Лицо Роберта Яковлевича покрылось темными пятнами разной величины.

– И краснеть не надо! – дорвалась Зинаида Митрофановна. – Не надо нам здесь краснеть, не надо! Пусть комсомолка сама расскажет! Пусть! А краснеть нам здесь не надо! Ничего вы своими краснениями не добьетесь!

Мускулистый Николай Иваныч закивал подбородком.

– Говори, Фейгензон, – приказала Людмила Евгеньевна.

Фейгензон беззвучно плакала.

– Каким образом ты, комсомолка, восьмиклассница, на которую государство, ничего не жалея, потратило столько сил, столько средств, каким образом ты докатилась до того, чтобы напиться пьяной и вступить в интимные отношения с... Как его зовут? Ну, отвечай?

Фейгензон закрыла лицо руками и затрясла головой.

– Где вы встречались? – заорала Зинаида Митрофановна. – Где ты позорила имя нашей школы?

Фейгензон мотнула головой в сторону леса.

– Та-а-ак, – развела руками Зинаида Митрофановна, – ну, что же... Фейгензон... В лесу, значит... И что же, необходимо тебе это было? Тебе, может быть, чего-то не хватало в жизни? Объясни нам: чего? Скучно тебе было, раз ты решилась на ТАКОЕ? Объясни нам, какие причины тобой руководили и каким образом ты, значит, унизилась настолько, чтобы – девушка, девочка! – предоставить чужому человеку, парню чужому, значит, увести себя в лес и там... Ну, рассказывай!

– Чего? – хрипнула Фейгензон.

– Как чего? – вскинулась Людмила Евгеньевна. – Того, о чем тебя спрашивают! Когда и при каких обстоятельствах ты, комсомолка, потеряла самое дорогое, что только бывает у девушки? Самое светлое? Самое святое? Вот чего!

– Ничего я не сделала, – прорыдала Фейгензон, – откуда я знала?

Роберт Яковлевич подцепил трехпалым отростком синий носовой платок из кармана пиджака, вытащил его и осторожно высморкался.

– Вот тебя уже и жалеют! – загрохотала Зинаида Митрофановна. – Сейчас мы все заплачем! Ах, бедная Фейгензон! Вот тебя уж и пожалели! А жалеть нужно было раньше! Жалеть не тебя нужно было, а силы и средства, которые наше государство по доброте своей на таких, как ты, тратит!

– Я не понимаю одного, – прорычал Николай Иваныч, – в голове у меня, – он хлопнул ладонью по лбу, словно убивая большое, во весь лоб, насекомое, – ну не понимаю я, как ты

могла при товарищах, это, значит, интимные, так я понимаю, отношения... Что же, у вас в лес здесь никто не заходит? Тут же у вас военная игра должна была готовиться, а тут, значит, под кустами... Нет, вот этого я не понимаю!

– Мы, товарищи, – сказала Зинаида Митрофановна, – должны вернуться немедленно ко всем остальным, а не шушукаться здесь, при закрытых дверях. Пусть все знают, особенно товарищи из роно, какие мы приняли решения.

Опять протрубил горн, собрал комсомольцев на вторую линейку, и все вернулись под красное, сморщенное от дождя знамя. Фейгензон приказали встать рядом с невыкорчеванным пнем, в самом центре поляны.

– Я требую, – раздув раковины щек, сказала Людмила Евгеньевна, – чтобы ты сейчас, Фейгензон, внятно рассказала нам, как ты вступила в эти отношения и до скотского состояния напилась на религиозно-языческом празднике! Жду!

– Мам! – вскрикнула вдруг Фейгензон и протянула руки навстречу людям, только что ступившим на территорию лагеря с проселочной дороги, ведущей на станцию.

– А, приехали, – удовлетворенно сказала Зинаида Митрофановна, – раньше даже, чем я думала.

Приехали родители Фейгензон. Мать – на три головы выше отца, плечистая, кудрявая и седая, шла впереди, и видно было, что она в семье главная и сейчас все глаза будут устремлены на нее, а не на плюгавенького, с балетной походкой, плохо выбритого старикашку. Мать, видимо, привыкла к тому, что ее дочь всякий может обидеть, и сейчас приготовилась к отпору, визгу, препирательствам.

– Что тут происходит? – с сильным южным акцентом спросила мать, обращаясь к педагогам и не глядя на дочь свою Юлию, которая стояла как вкопанная.

– Вот мы и пытаемся выяснить, – язвительно сказала Людмила Евгеньевна. – Вот и вас мы для этого пригласили! Чтобы вы в присутствии всего коллектива расспросили ее, которая без всякого стыда опозорила имя комсомолки!

– Ты тут что наделала, я тебе говорю! – Мать схватилась за голову и покачнулась. – Мы с отцом работаем, дней не видим, ночей не спим! А ты тут что наделала! Говори, я последний раз спрашиваю!

– Фира, – забормотал отец Фейгензон, – пусть тебе сперва объяснят, а то, может, и зря весь базар, потому что мы же ничего и не знаем толком...

– Ты! – закричала мать. – Ты! Чтобы ты молчал мне, чтобы не пикнул! Чтобы я дожила до седых волос, – она вцепилась в свой кудрявый седой висок и сильно дернула, – и чтобы мою дочь вот так вот увидеть!

Галина Аркадьевна, Нина Львовна, директор школы Людмила Евгеньевна и Зинаида Митрофановна, завуч, тут же почувствовали поддержку в лице этой большой и кудрявой женщины, которая имела право кричать еще громче, чем они, могла вообще проехаться рукой по физиономии своей глупой, бессловесной девки, и ничего бы ей за это не было, никто бы не осудил, никто бы не удивился, а девка бы от этого сжалась, совсем бы, бессовестная, почернела от страха, и поделом ей, поделом, потому что ни стыда, ничего, никаких идеалов, никто им не авторитет, и только гадость одна из них лезет, изо всех этих девок, в четырнадцать-то лет, а мы в их годы ничего такого и знать не знали, а только мечтали, чтобы фронту помочь, чтобы всё для победы...

– Ваша дочь вступила в половую близость, – сказала директор школы Людмила Евгеньевна, мать низкорослого сына Валерика, брошенная мужем за четыре дня до родов. – Ваша дочь жила интенсивной половой жизнью. – Отец Фейгензон сморщился, будто разжевал лимон. – И поскольку мы, педагоги, отвечаем за ее жизнь и здоровье, мы обязаны знать все обстоятельства этого безобразия, прежде чем вашим делом займутся соответствующие инстанции.

– Ты чтобы мне все сейчас рассказала, – плохо соображая, истерически закричала мать, – чтобы перед всеми здесь ничего не прятала!

– Я полагаю, что это недозволенные приемы, – пробормотал Роберт Яковлевич, – это все-таки так не делается, у ребенка есть все-таки какая-то гордость, мы не палачи...

– Я не палач! – моментально отреагировала Зинаида Митрофановна. – Но правильно говорит Людмила Евгеньевна: раз мы, педагоги, отвечаем жизнью, можно сказать, за ихнюю жизнь, так кто нам поручится, что у них у всех, – и она ужаснувшимися глазами обвела напряженные лица под слабым, еле живым, розоватым дождичком, – что у них, у каждого, не идет своя жизнь, так сказать, безобразная, может быть, даже и половая, а мы, которые всю свою жизнь в них вложили, мы не останемся, иначе выражаясь, в дураках! Вот об чем разговор, Роберт Яковлевич, а не об ваших пристрастиях!

– Ну, размечталась, – еле слышно пробормотал Орлов, – чтоб у каждого – половая...

– Юля, – забормотал отец Фейгензон и зашаркал ногами по траве, словно приглашая свою дочь на вальс, – ты, может быть, правду мама говорит, лучше бы уж рассказала. Если у тебя произошли, – он споткнулся на непростом слове, – такие отношения, то лучше ты уж скажи, а то видишь, какой компот...

Черная «Волга», все это время не подававшая никаких признаков жизни, вдруг плавно развернулась, описала небольшой круг и подкатила к самой линейке. Из нее вылезли двое мужчин и одна женщина с мощно выступавшим из-под легкого платья беременным животом.

– Вот сейчас все и станет ясно, – удовлетворенно рассерженной грудью выдохнула Зинаида Митрофановна, – вот уж товарищам из роно никто лапшу на голову не навесит...

Мужчины из роно резко отличались друг от друга. Один из них был весьма толстым, каким-то надутым, а другой худым до нездоровости. У надутого сильно выделялся большой темно-красный подбородок, словно его приклеили, а все остальное – лицо и шея – были обычного, бежеватого цвета. Глаза у него смотрели равнодушно и несколько даже мертво, словно душа давно уже ушла из надутого тела и теперь плавает совершенно самостоятельно неизвестно где, а надутый, ничего не заметив, продолжает жить так, будто с ним все в порядке и душа его никуда не девалась. Тонкий же, напротив, был таким слабым на вид и недокормленным, что сердобольная, слегка свихнувшаяся от любви к Чернецкой Марь Иванна почувствовала укол в сердце и неразборчиво пожалела, что он, недокормленный, вынужден, судя по всему, так тяжело и нервно работать. Приехавшая с ними женщина, которой предстояло в скором времени родить ребенка, чтобы через тринадцать лет его вот так же выставили на линейке под красным флагом, была смугла, цыганиста, губы имела вспухшие, зацелованные, а глаза голубые и такие прозрачные, такие беспутные глаза, что у мальчиков-комсомольцев пересохло во рту.

– Ну что, ребята? – хмуро сказал надутый. – Что же это у вас тут происходит? Разбираться будем.

– Учтите, – перебил его тонкий, – что на вас на всех лежит ответственность, что вы все отвечаете за поступок вашего товарища...

– Просто суд Линча какой-то, – в синий носовой платок прохрипел Роберт Яковлевич, – никуда не годится...

Но он не успел ничего сделать, ничем не успел помочь несчастной Фейгензон, которая за неделю до этого начала жить интенсивной, по словам директора Людмилы Евгеньевны, и безобразной, по словам Зинаиды Митрофановны, завуча, половой жизнью, потому что небо надо всеми собравшимися вдруг почернело, потом поседело, потом стало похожим на океан с высоко поднявшимися волнами, и оттуда, из океана, хлынул не просто дождь, а какой-то бешеный, безумный поток воды, словно на головы им опрокинулся водопад Ниагара, известный нескольким комсомольцам по фотографиям в «Огоньке», а Зинаиде Митрофановне и Галине Аркадьевне по популярной телепередаче «Клуб кинопутешествий». Дождь этот был вспыхивающего, почти белого цвета и такой холодный, что, казалось, еще немного – и превра-

тится в снег. Мужчины из роно бросились к беременной, пытаясь укрыть ее от потоков, и толстый оттолкнул тонкого, а беременная с хохотом и воплями оттолкнула их обоих и побежала обратно к черной «Волге», сверкая по пузырящейся траве своими молочно-белыми, соблазнительными икрами. Все взрослые – включая фронтовика Николая Иваныча с мокрыми волосинками, вылезшими из каждой ноздри, – тут же потеряли неприступность и основательность, заметались, закрыв затылки ладонями, у директора Людмилы Евгеньевны бурые пряди прилипли к круглому черепу, так что открылись и оттопырились маленькие мясистые уши, а у Галины Аркадьевны вылупились большие твердые соски под заблестевшей и прилипшей ситцевой летней кофточкой. Дождь смыл их всех, и все они, как сухари, размоченные в кипятке, стали мягкими, раскричались, согнулись, утратили свои очертания и – скорее, скорее, забыв друг о друге, о развратной, испорченной, всех опозорившей Фейгензон, – побежали кто куда, гонимые инстинктом жизни и страхом смерти. А небо нависало все ниже и ниже, становилось все злее, все больше и больше лютой сверкающей воды извергало оно в своем отчаянии, догадавшись, что ни полуденное тепло, ни добродушные облака, ни золотистые радуги не помогут этим изуродованным, с оттопыренными ушами людям, и остается только одно: припугнуть их беспощадной грозой, огнем ее и потоками. На этом и закончился суд над Фейгензон.

Уехала черная «Волга», увезла красавицу с распухшими губами и тяжелым, нависшим над стройными ногами животом, увезла толстого и тонкого, которые, скорее всего, и нагрянули-то в лагерь, чтобы не сидеть в своих скучных, пахнущих чернилами кабинетах, а решили на скорую руку наорать, разбрызгивая слюну, припугнуть малолеток да и закатиться куда-нибудь по летней поре на казенной машине – в ресторан «Медвежонок», например, по Ярославскому шоссе, где подают жареных медвежат с печеной картошкой, и все это в красных глиняных горшочках, пальцы проглотишь...

В суматохе никто не обратил внимания на то, что к родителям Фейгензон подбежал безрукий Роберт Яковлевич и что-то торопливо заговорил, кивая лысой головой на мокрую, полную Фейгензон, которая совсем не знала, что ей делать, и – будучи пугливой и нерешительной – так и осталась стоять, где стояла, а заблестевшее платье натянулось на ее большом выпуклом теле и обрисовало его целиком, со всеми изгибами и окружностями.

В конце концов остались только эти четверо, и Роберт Яковлевич, безрукий и сгорбленный, сгорбился еще больше, чтобы объяснить маленькому отцу Фейгензон что-то про жизнь, а отец Фейгензон, судя по всему, рад был услышать то, что говорит Роберт Яковлевич, отчего он и вцепился обеими своими здоровыми руками в костлявое плечо педагога и быстро закивал ему в ответ, а потом одной рукой – согнутым локтем ее – закрыл себе лицо и весь затрясся. У Роберта Яковлевича рук не было и нечем было обнять его, так что он начал просто переминаться под дождем, который становился все неистовее, и никуда эти четверо не бежали, ничем не прикрывались, и в конце концов создалось впечатление, что, оставшись одни под грозою, они надежно спрятались ото всех остальных, нашли себе пристанище, где ни живая, ни мертвая душа их не отыщет. Более того: мать Фейгензон, у которой вдруг разом разгладились все ее морщины и она стала как две капли похожа на свою опозоренную дочь, оборотила в небо ярко-карие, промытые ливнем глаза, вскричала «Ай, что же я!» и бросилась к этой самой дочери, которая сначала с ужасом смотрела на то, как она приближается, и была, видно, готова к любому удару в любую свою окружность, но потом уловила свет в материнском лице и, громко плача, припала к ней, прижалась изо всех сил, а мать стала раскачиваться и перебирать своими большими пальцами ее запутанные и мокрые волосы.

Вечером Фейгензон с родителями отправилась на электричке в город, но дело так и не стало предметом работы серьезных инстанций – как грозили Зинаида Митрофановна и Людмила Евгеньевна, – потому что Федору Подушкину, работнику колхоза имени Серго Орджоникидзе, только что окончившему деревенскую семилетку, было всего-навсего четырнадцать

лет, столько же, сколько и самой Фейгензон, более того, пострадавшая оказалась на три месяца старше. Этого Федора Подушкина много раз пытались потом затащить из деревни на лагерное комсомольское собрание, всё хотели поговорить с ним начистоту, открыть ему глаза, как выразилась Нина Львовна, но он то ли решил всю свою *оставшуюся* жизнь прожить с закрытыми, то ли уж очень перепугался городских и московских, но только ни на какое собрание не явился, а, как рассказывали, запил, загулял, захулиганил и пообещал в присутствии двух других колхозников пообломать руки и вырвать ноги двум «блядям-кикиморам» (его собственные слова), то есть ни в чем не виноватым Нине Львовне и Галине Аркадьевне, за то, что они разлучили его с любимой девушкой Юлей. Про костер, на котором Фейгензон напоили портвейном пополам с водкой, Подушкин, как ни странно, узнал только на следующий день, сам же он на костре не был, а ездил на лошади в другую деревню, Михалево, за двадцать километров от Орджоникидзе, где у него, у Подушкина, помирала в это время родная бабка Евдокия Сергеевна. Получилось как-то уж совсем глупо: незнакомые ребята, польстившись, судя по всему, на доверчивое фейгензоновское тело, известное тем, что оно по ночам милуется с Подушкиным, выманили девушку из палатки, уволокли на праздник, набрехали с три короба, будто Подушкин сейчас вот вернется от мертвой бабки, уже, мол, в дороге, напоили, а дальше... Дальше, слава Богу, подоспели наши.

Гроза наконец отгрохотала, и дождь, то черный, то белый, то серебряный, отшумел над покорными травами и людскими затылками, просверкал всеми оркестрами сразу и наконец ушел, уволок свое потускневшее серебро в чужие земли, чтобы припугнуть там других, бестолковых, с оттопыренными ушами, которые кричат не по-русски и угрожают не по-нашему. После его ухода в лагере наступило какое-то оцепенение, словно гроза выкачала из комсомольских сердец все силы на вранье и бессовестность. Обедать собрались тихие и грустные, перешепнулись между собой о том, что все, может быть, к лучшему, хорошо, что так закончилось, и пусть ее увозят в город, а там, к первому сентября, когда надо опять надевать капроновый белый фартук с крылышками, как у ангела, и в руки – букет из пожухлых флоксов, там уж как-нибудь все это совсем уляжется и травой порастет. Мокрой травой, после дождя сверкающей, с синими колючими фонариками мелких цветов, названия которых никто не помнит.

И пока всхлипывающая, гуще и слаще обычного пахнущая потом Фейгензон, сжатая между отцом и матерью, тряслась в тамбуре заплеванной электрички, в палатке Марь Иванны, отлучившейся на станцию в телефон-автомат, произошел разговор между хмурым Орловым и маленькой взволнованной Чернецкой. Чернецкая сидела, как обычно, на раскладушке, поджав полные ноги с серебристыми ноготками, источала аромат немецкого шампуня изнутри своих распущенных каштановых волос, а Орлов полулежал на земляном полу, гладил ее колено сильными мужскими пальцами и снизу вверх смотрел на ее острый подбородок и перламутровую в полутьме шею своими жадными и жесткими глазами.

– Я тебя хотел спросить, – вдруг сказал он и сжал ее мизинец, – у тебя все в порядке по вашим, ну, по женским делам?

Чернецкая вспыхнула. Она поняла, что он имеет в виду, и сердце ее заколотилось от той близости, которая была между ними.

– Я пока не знаю, – опустив трепещущие ресницы так, что с каждой стороны закрылось полщеки, прошептала Чернецкая, – жду.

– Слушай, – сказал Орлов, – мы поженимся с тобой сразу, как кончим школу.

– А если тебя в армию заберут? – спросила Чернецкая.

– Идиотов нет, – ответил Орлов, – в армию идут одни идиоты.

Чернецкая удивилась. Она росла в доме, где на подобные темы не разговаривали, и поэтому верила тому, чему учили школа, радио и телевизор.

– Как это?

– Ты что, не понимаешь? – спросил Орлов. – Очень мне нужно, чтобы меня, как осла, в армию запрягли. У меня ведь одна жизнь.

Чернецкая широко раскрыла глаза. Орлов усмехнулся и поцеловал ее теплое, гладкое колено.

– Но надо же защищать Родину, – звонким, как на собрании, голосом воскликнула Чернецкая. – От врагов! Ты же обязан!

– «Обязан»! – передразнил Орлов. – Никому я ничего не обязан. Я, может, в Бога верю, мне нельзя в армию идти.

Чернецкая в ужасе прижала к щекам ладони.

– Гена! Ты что говоришь! В какого еще Бога?

– Я пошутил, – медленно и задумчиво сказал Орлов. – В Бога я, кажется, не верю. У меня бабушка зато верит. И мать тоже. А я буду дипломатом.

– Дигагоматом? – переспросила Чернецкая.

– Дипломатом. У нас сосед был, он шофером в нашем посольстве в Мадриде работал. Мы здесь сидим, как идиоты, ничего не видим. А я хочу в Париже жить. Или в Лондоне.

Чернецкая вспомнила про свою маму Стеллу Георгиевну.

– Моя мама много раз бывала на Кубе.

– Ну, видишь! На Кубе! Пусть хоть на Кубе, все равно ведь интересно! Так что ты давай готовься, через три года женимся, я поступлю в МГИМО, это точно, ты не думай, что я треплюсь. Это точно.

– Но ты же учишься даже не очень хорошо, – заметила Чернецкая и тоненьким пальчиком провела по его переносице.

Орлов ухватил ее пальчик губами. Укусил легонько и отпустил.

– Чепуха, – сказал он, – настанет осень, и я все глупости брошу. Нужно будет в ЦК ВЛКСМ пробиваться. Буду все это говно половниками хлебать. Ради дела.

– Что? – ярко покраснев, переспросила Чернецкая. – Что хлебать?

– А ты что, веришь, что ли, во все это? – прищурился Орлов.

– Во что?

– Ну, во все это... Ну, вот, что Нина Львовна нам втюхивает... Про то, как мы войну на народном героизме выиграли, и вообще...

– А ты что, не веришь?

– Войну мы выиграли, когда второй фронт открыли, – жестко сказал Орлов, – и не на одном героизме, а на американской тушенке.

– Ты что! – закричала Чернецкая и вскочила с раскладушки. – Как ты с такими взглядами вообще можешь комсомольский значок носить!

– Могу, – усмехнулся Орлов, с силой усадил ее обратно и сам сел рядом. – Могу. Очень запросто.

– Я не стану с тобой встречаться! – вскрикнула Чернецкая и попыталась вырваться.

Орлов повалил ее на подушку в темно-желтой ситцевой наволочке.

– Куда ты теперь от меня денешься, дурочка? – продышал он в ее оттопыренные возмущением, сладкие губы. – Куда? Я только вот что подумал: нам с тобой надо предохраняться, Наташка, а то...

И велика же была его власть над ней – над ее каштановыми волосами, кожей, губами, грудью и животом, – так велика, что возмущенная Чернецкая поахала-поахала да и затихла под его уверенными руками, дышать перестала, глаза зажмурила...

Он ей, однако, не соврал. Мать его была верующей и ходила в церковь. Семья вообще получилась маленькой, из трех человек: бабушка, мать и четырнадцатилетний Орлов. Больше никого. Бабушка была вдовой бывшего фабриканта Лежнева, человека дворянского происхож-

дения и до революции небедного, а после революции насмерть перепуганного, не успевшего, а может, не решившегося никуда убежать, который – как только затряслась земля от исторических судорог – умудрился так забиться в жизненную щель, так свести к минимуму всякие общения и дружбы, что о нем забыли, ни в двадцатые, ни в тридцатые не тронули, пока он, тихий служащий в скромной конторе, не умер сам, своею смертью, поднимаясь по лестнице на третий этаж после службы, вечером, жарким очень августовским днем 1940 года. Оставшись с осиротевшим подростком на руках, бабушка Лежнева стиснула рот с остатками съеденных разнообразными болезнями зубов и принялась растить свою четырнадцатилетнюю дочь, девочку умную, грустную и очень скрытную, со всем усердием, на которое была способна. Не сразу, а потихонечку стала она разговаривать с ребенком о Боге, усмехаться, когда дочка, растерявшись, попробовала было образумить отсталую родительницу на советский неверующий лад, и в конце концов повязала на девочку белый платочек, повезла ее куда-то в отдаленную церквушку, выстояла вместе с нею всю пасхальную службу и, разглядев, что дочке это неожиданно пришлось по нутру, пошла к своему духовному отцу и посоветовалась с ним начистоту: как, дескать, дальше быть с девочкой, чтобы ее и не погубить, и в то же время без Бога не оставить. Старый человек отец Амвросий просверлил свою духовную дочь внимательными глазами и наконец ответил ей так:

– Дитя – твое, ты мать. Как мать, ты свою дщерь лучше других понимаешь. Я так вижу, что душа ее младенческая к Божьему Откровению вполне готова, отмолили ангелы небесные. Так что ты теперь доделывай и ничего не бойся.

Бабушка Лежнева и «доделала», как могла, на скорую, правда, руку, потому что через пару месяцев началась война, девочка ее вместе с другими своими одноклассницами поехала куда-то под Калинин помочь осиротевшим без мужского населения колхозницам с детьми в уборке урожая, а вернулась оттуда женщиной, полюбившись в дороге с каким-то солдатиком. Сразу же, разумеется, началась любовная и дружественная переписка. Целые тетрадки Сергея Есенина переписывала влюбленная девушка и посылала на фронт, как вдруг солдатик пропал, на Есенина не ответил и, скорее всего, сложил свою бритую молодую голову то ли при переправе, то ли при отступлении. Девочка Лежнева, к тому времени уже почти взрослая, голенастая, с тяжелыми светло-русыми косами, которые она корзиночкой укладывала на затылке, поступила в медицинское училище и сообщила матери, что останется верной своему погибшему жениху и будет ждать, пока их души – после ее смерти – встретятся на небе. Бабушка Лежнева так и ахнула, поняв, что пути Господни и впрямь неисповедимы, что «отмолили», как выразился отец Амвросий, ангелы небесные душу ее дочки, и испугалась теперь другой крайности: как бы не стала дочкина религиозность известна в ее медицинском училище.

– Кому какое дело, – угрюмо сказала дочка в ответ на материнские опасения. – Я в Бога верю, потому что знаю, что Он есть. А отчитываться мне перед ними нечего.

Так они и жили – мама с дочерью – до самой победы. Дочка закончила учение, но стала еще более скрытной, еще туже заплетала свои светло-русые косы, еще жестче стискивала губы, на танцы не ходила, в кино не бегала, хотя мать потихонечку перешивала ей из своих шелковых довоенных платьев и даже продала с помощью одной перекупщицы убереженное, не отобранное большевиками, не проеденное во время войны кольцо с небольшим бриллиантиком, а другое, с бриллиантиком побольше, последнее, спрятала под половицей. На вырученные деньги сшили дочке габардиновое пальто, серое, модное, в талию, с рукавами-фонариками, прикупив к нему еще желто-серую лису с кроткой засохшей мордочкой и выковырянными после лисьей уже кончины глазками. Чтобы набрасывать поверх габардина, если снег пойдет. В этой лисе светло-русая медсестра познакомилась как-то в трамвае с широкоплечим военным, нестарым, но уже седым, который, как ни странно, до того напомнил ей потерянного в пекле войны солдатика, что она в первую секунду подумала, а уж не он ли это, бывают же чудеса...

Однако при ближайшем рассмотрении военный оказался совсем не тем полуголодным птенцом, который когда-то сделал ее женщиной, а потом улетел, торопясь обратно на поле брани, чтобы и рухнуть, в конце концов, комочком со своими слипшимися от крови крылышками то ли в бурую землю, то ли – глубоко и страшно – в осеннюю воду. Нестарый трамвайный знакомый имел абсолютно другую биографию, скрыл, как это водится, что женат, и, пользуясь отсутствием супруги, уехавшей с ребятишками к матери в Подмосковье, привел медсестру к себе домой, вечером, попозже, когда улеглись полуглухие и полуслепые соседи его, старики Тихомировы. В первую же ночь она и забеременела.

Бабушка Лежнева никак не могла понять, откуда у ее молчаливой и замкнутой дочери такая прыть: девочкой поехала в деревню копать картошку, всем ничего, а она вернулась опечаленной женщиной с разбитым сердцем и памятью о судорожной мужской плоти внутри своего полудетского, развороченного торопящейся любовью тела. Потом опять никого-ничего, училась, стиснув зубы, работала, наматывала то узлом, то корзиночкой тяжелые косы на затылке – и вдруг пошла в дом к первому попавшемуся мужику, легла с ним в кровать, накрылась чужим одеялом, а утром вернулась домой, неся в своей утробе чужое семя.

С семенем, правда, выяснилось не сразу. Сначала приехали из Подмосковья жена с подросшими ребятишками. Тут седой раскололся, попросил медсестру простить его, сказал, что никогда в жизни ни жену, прождавшую его всю войну, ни ребятишек своих не оставит, но предложил – будучи настоящим мужчиной и к тому же влюбчивым – до конца не прощаться, а встречаться время от времени, только чтобы никто никогда не увидел. Мать будущего Орлова, совсем еще тогда неоформившегося, еле заметного среди гущи крови и зарослей многочисленных органов и окончаний, ответила, что ни о чем таком не может быть и речи, но она нисколько не жалеет об их знакомстве и желает седому трамвайному всего наилучшего. Так они и расстались.

После этого она преспокойно – с теми же своими тугими светлыми косами вокруг головы – протаскала по трамваям и лестницам день ото дня разбухающий живот, на любопытные взгляды не реагировала, на смешки не оборачивалась и в положенное время родила ярко-синеглазого, с черным коком густых волос на темечке, увесистого (5 килограммов 800 граммов!) мальчика, назвала его Геннадием, фамилию дала простую – Орлов, начала было кормить его грудью, но соски от жадного младенческого рта тут же потрескались, попала инфекция, поднялась температура, ребенка у заболевшей матери отобрали, перевели ее в терапевтическое отделение, а его, голодного, огромного, синеглазого, отдали бабушке Лежневой, прямо в задрожавшие от страха, слабенькие, с тонкими венозными веточками руки. И пока мать лечили пенициллином, резали ей каменные, огненно-горячие груди, выкачивали оттуда гной, а сестра-хозяйка каждое утро бухала перед ней миску с пересоленной, комочками сваренной манной кашей, маленький Орлов из синеглазого стал черноглазым, кок на темечке вытерся, как кончик кошачьего хвоста, и ни одной ночи не дал новорожденный внук отоспаться бабушке Лежневой – разрывался, заходился требовательным криком, все просил есть, и бабушка Лежнева сбилась с ног, два раза на дню бегала в женскую консультацию, чтобы принести оттуда плохо промытые бутылочки с жиденьким чужим молоком, горлышки которых были заткнуты белой марлей. Неожиданно – мать Орлова еще была в больнице – скончался священник, тот самый, который когда-то объяснял бабушке Лежневой про небесных ангелов, и на его место пришел другой, молодой, представительный, густогривый, которому по красоте его не службы бы служить в захолустной деревушке, не кадилом над ледяными лбами размахивать, а сниматься на киностудии Довженко в самых замечательных фильмах.

Бабушка Лежнева, больше всего испугавшаяся, что новорожденный Геннадий без нормального питания да без матери умрет некрещеным, пошла к новому священнику и окрестила внука сама. Заодно и свечку поставила за здравие своенравной своей дочери, которая все на свете делала, как хотела. Когда же дочка вышла наконец из больницы, была уже первая неделя

Пасхи, и сообразительные старухи на кладбище продавали посетителям вербу, а другие, тоже сообразительные, старухи у метро продавали влюбленным полумертвую мимозу, по два рубля за букетик. Молоденькая «мамаша» – как называют только что родивших женщин нянечки и медсестры – завернула своего черноглазого в голубое одеяло, прижала его к ноющей, полной молока, резаной-перерезанной груди и поехала в церковь.

И тут, с первой же поездки, началось такое неслыханное и позорное, что, если бы бабушка Лежнева догадалась, что именно на ее глазах началось, рухнула бы она на землю и никогда с нее не поднялась. Новый священник увидел среди своей паствы незнакомую молодую женщину с плотным черноглазым ребеночком на руках, и слова самого Иисуса Христа, призывающего всех к источнику благодати, Им открытому, так и остановились в горле. Только сумел прошептать отец Валентин «еще кто да приидет ко Мне», а уж «да пиет» совсем не получилось. Очень был сластолюбив отец Валентин Микитин, жить не мог без ласки. Вернее сказать, поначалу-то он жил, не подозревая, что не может, и так – в неустанном чтении святых книг, молитвах и постах – дожил до тридцати восьми лет, опускал глаза, сглатывал соленую слюну всякий раз, как наплывали бесстыдные видения, бесовские развратные картины или – еще того хуже – представала перед ним живая, в натуральную свою величину, деревенская женщина, простая, верующая, чистым сердцем ищущая у него утешения прихожанка, а он – ирод Царя Небесного – вдруг представлял себе, какие у нее, должно быть, томятся сладкие, горячие телеса под плюшевой кофтой, какие там, должно быть, трутся друг об дружку колени в неуклюжих валенках...

Но терпел. И готов был терпеть до последнего отрезанного наточенным топором мизинца (могло бы ведь и с ним такое случиться!), но однажды летом пошел отец Валентин, заночевавший в чужой деревне, куда пригласили его к не остывшему еще остроносому покойнику, рано утром на речку перед обратной дорогой по июльскому солнцепеку, разделся донага в высоких кустах, снял с себя осторожно православный крест, положил его, расцеловав, внутрь своей несвежей уже нижней сорочки, крякнул от восторга перед Божией благодатью, зажмурился от радости на эту парную, сонную, густо-синюю речушку, оттолкнулся молодыми ногами от илистого дна, но не успел проплыть и двух шагов, как прямо перед ним вынырнула из набежавшей волны черноволосая русалка с зелеными глазами, расхохоталась ему в ошалевшее лицо, плеснула в ослепшие зрачки хрустальной водицей да и потащила за собой – сперва в эту самую хрустальную водицу, поглубже, а потом, накаленного и безумного, выволокла за обе руки на берег, опрокинула в пышную траву, под звенящие от невидимых пташек кусты, где лежала его аккуратно сложенная, несвежая уже сорочка с православным крестом в рукаве.

Так и согрешил отец Валентин Микитин, так он и пал, будучи при этом не просто священником, а монахом, которого матушка его, незадолго до этого умершая, строгая, властолюбивая попадья, прочила в архимандриты. Какой уж тут архимандрит. Срам, стыд и мерзость. После своего падения отец Валентин сперва разглядел как следует соблазнившую его русалку. Оказалось, приехавшая в гости к тетке из города рослая ткачиха, женщина свободная, до мужчин жадная, ни стыда, ни совести не знающая (не такая уж, кстати, и молоденькая, но действительно зеленоглазая, длинноволосая, с косеньким зубиком сбоку), а разглядев, уже не мог остановиться, и все они, молодые и не очень, с длинными волосами и с волосами, собранными под платочками, стали изо дня в день мучить бедного отца Валентина, сокрушать его чуткий сон, и тогда, чтобы не свихнуться, не запить горькую, не потерять работу, стал он грешить потихоньку, не часто, раза два или три в году. Но ничего, сходило, потому что любили его и городские, и деревенские, тянулись сиротливыми сердцами к осторожному церковному свету, золотистому в сумерках.

Ну, что говорить? Грех. У Катерины Константиновны ребенок на руках, у него приход и обет монашеский. И то, и другое, и третье пришлось отодвинуть. Маленького жадного до еды Орлова бросала она с бабушкой Лежневой, после двух суток медсестрой в больнице – по сорок восемь часов не спала – садилась на электричку, потом по непролазной весенней грязи

на автобусе, а он уже ждал, сидел за столом под иконой, глаз с двери не сводил. Появлялась наконец. Входила без стука, с опущенными глазами, со светлыми своими, к тому времени уже остриженными волосами... Дорывались друг до друга. Что говорить?

Даже мать ее долгое время ни о чем не догадывалась. Огорчалась только на религиозное дочернее рвение. Потом увидела их как-то в Москве. Отец Валентин иногда наезжал в Москву, облачался в гражданский костюм, расчесывал густую бороду, и они гуляли по бульварам, перепрыгивали, шаля, через майские лужицы. Увидела их однажды, перепрыгивающих, бабушка Лежнева и чуть рассудка не лишилась. А что проку в рассудке?

Молодой Орлов свою светловолосую молчаливую маму очень любил. Она с ним времени проводила немного, но всегда как-то с толком: научила его и плавать, и кататься на лыжах, купила ему – на свои медсестринские куцые деньги – неплохой велосипед в комиссионном магазине, записала сына в большую библиотеку, – короче, сделала так, чтобы он не чувствовал себя брошенным и одиноким. Про бабушку Лежневу говорить нечего, она и баловала, она и покрикивала, она и поцелуями осыпала. На старинный дворянский лад поцелуями, со слезами. За четырнадцать лет, прошедших с той самой Пасхи, изменилось, конечно, главное: черноглазый сверток в материнских руках развернулся в высокого, с сильными плечами, немногословного, себе на уме, смышленого подростка, можно даже сказать молодого человека, который о разных вещах на свете догадывался и очень не хотел, чтобы им распоряжались или учили его, как жить. Потому что он и сам знал, как ему жить. Копия матери.

Марь Иванна дождалась наконец родительского воскресенья, приехали Стеллочка с Леонидом Михайловичем, гинекологом. На своей роскошной, цвета закалившейся стали «Победе». Стеллочка долго жала обеими руками – горячими, с ярко-малиновым маникюром – корявые лапки Нины Львовны и Галины Аркадьевны. Хотела было расцеловать и ту и другую в щеки, но морды были постные, вытянутые, испуганные, и Стеллочка отступила. Протянула малиновый маникюр навстречу своей девочке, выбежавшей из леса, где с раннего утра репетировали двумя классами – «А» и «Б» – военную игру. Девочка негромко вскрикнула от радости и высоко задрала с обеих сторон полураспустившиеся от невинного веселья каштановые кудри (знала, что на нее и на родителей со всех сторон смотрят!), упала на грудь отцу не хуже Катерины из пьесы Островского «Гроза», кусок из которой вчера, к празднику закрытия лагеря, репетировали. Отец неторопливо – привык очень к женщинам! – пригладил ей волосы большими опытными руками. Марь Иванна прослезилась на «своих», вытерла глаза кончиком фартука. Стеллочка сверкнула на нее обжигающими зрачками.

– Хорошо тебе, хорошо? – страстно спросила Стеллочка у дочки.

– О, да! – порывисто ответила дочка, прижимаясь к матери. – Да! Очень!

– Ну, пойдем посмотрим, что мы тебе привезли, – чудесным басом вздохнул гинеколог и вытащил из машины тяжеленный портфель. – Тут много всего, будешь угощать подружек.

– Пусть сама ест, – с быстрой ненавистью отозвалась Марь Иванна. – Вы прям как вчера родились, Леонид Михалыч! У подружек свое, у нее свое! С рынка ведь небось привезли? Сотню ведь небось на рынке оставили? А то я не знаю!

– Ах, не надо, не надо жадничать, Марь Иванна! – пропела Стеллочка. – Пусть она поделится! Да, доченька? Да, моя роднюсенька?

Орлов, в чистой белой футболке, загорелый, с мощными плечами, стоял рядом со своей палаткой и, посмеиваясь, черными, тяжелыми глазами наблюдал, как его маленькая любовница играет в послушную девочку. В сопровождении Марь Иванны, на ходу снявшей фартук и обеими ладонями торопливо пригладившей волоски на затылке, семейство отошло в сторонку и живописно расселось на поваленной русской березе. Гинеколог расстегнул портфель, Стеллочка расстелила на шелковистом березовом теле две ярко-красные гаванские салфетки. Из портфеля поплыли размокшие газетные кульки с кровавыми подтеками: клубника, смородина

красная, смородина черная, помидоры, абрикосы, за ними в отдельной коробочке миндальные пирожные из ресторана «Прага», потом пакет рассыпчатого творога. На твороге Марь Иванна всполошилась:

– Это все надо прямо сейчас и съесть! Слышишь, Наталья! А то испортится! Сейчас сахарком посыпем и чтоб при нас съела! А то куда ж я это дену, денег-то одних пошло, Господи ты мой, Боженька, Пресвятая Царица Небесная!

Чернецкая откусила кусочек миндального пирожного, взяла в рот одну смородинку и тут же выплюнула.

– Ай! – закричала Марь Иванна так, что два старых ворона, испуганные ее криком, сорвались с дерева и полетели прочь, тяжело хлопая утомившимися за триста лет крыльями. – Ай! Наташа! Да куда ж ты ее в рот-то, немытую! Да там от этих узбеков грязи-то понасыпалось! На рынке-то! В пяти водах не отмоешь! Дай я побегу помою!

– Не надо, – побледнев, сказала любимый ребенок Чернецкая, – мне не хочется. Сама ешь, Марь Иванна.

Стеллочка переглянулась с гинекологом.

– Вас здесь что, миндальными пирожными кормят? – пошутил гинеколог. – Что-то не похоже.

При слове «кормят» Чернецкая побледнела еще больше и обеими руками оттолкнула окровавленные кульки.

– Ты нездорова? – встревожилась Стеллочка и горячую руку с твердыми малиновыми лепестками положила на кругленький дочкин лобик.

– Здорова, – тихо ответила дочка и оттопырила губы. – Меня тошнит.

– Это от воды! – заорала Марь Иванна. – Вода здесь гнилая! Меня самую, веришь, Стеллочка, самую меня выворачивает! Начнешь вот чай пить, и не идет! Всю мою унутренность обратно тянет! Так меня рвать и тянет!

– Горлышко не болит у тебя? – пела Стеллочка. – Горлышко?

– Да какое горлышко! – Марь Иванна изо всех сил всплеснула красными от непосильного труда руками. – Я говорила: ни к чему нам этот лагерь, справку взять, и отпустят! А вы свое: пущай с детями играет, пущай как все растет! Вот и доигралась с детями до того, что пирожные в рот не лезут! Прям как я ее выхаживать буду, ума не приложу!

– Уберите это, – брезгливо прошептала Чернецкая, – меня от вида от одного тошнит... Каша какая-то... Гадость...

И, сморщив нежное личико, отвернулась от размокших кульков.

– Ты как мои пациентки, – пошутил гинеколог, – те тоже сами не знают, чего хотят... Капусты соленой, больше ничего.

Чернецкая покраснела до того, что на ресницах повисли слезинки.

– Что за шуточки, – прошипела Стеллочка, и свирепое беличье выражение сверкнуло в нижней части ее губ и подбородка. – Соображать все-таки надо, как с ребенком разговариваешь!

Гинеколог презрительно повел в ее сторону коричневыми зрачками. Горн заголосил на лужайке, призывая детей на предобеденную линейку. Нина Львовна в ситцевом желтеньком сарафане, оголившем ей мучнистые плечи, объявила, что тихий час отменяется, потому что ко многим приехали родители – она скривила рот в полузаискивающую улыбку – и надо уделить время родителям, потому что завтра они уже не смогут к нам приехать, так что в порядке исключения пусть уж погуляют тут у нас в лесу или еще можно пойти вдоль шоссе по направлению к полю. Тоже прекрасная живописная дорога. Ну, и со своими детьми, конечно. В порядке исключения. Марь Иванна побежала в столовую разливать по мискам сизый и скользкий перловый суп, а скучающие Стеллочка с гинекологом остались сидеть на березе в ожидании, пока можно будет погулять с их маленькой кудрявой девочкой вдоль шоссе.

– Пялятся мальчишки, – глядя на облако, напоминающее сросшихся гривами лошадей, промямлил гинеколог. – У нашей дочери большое будущее.

Стеллочка почувствовала отвращение к его уверенному густому дыханию.

– Я бы, – продолжал гинеколог, наблюдая, как одна из лошадей медленно разлагается на волокна и превращается в синеву, – будь я матерью, поинтересовался бы, как у нее обстоят дела на личном фронте. Ну, и вообще...

– Пошляк, – раздувая ноздри, сказала Стеллочка. – Ничего святого нет. Циник.

– О, – пробормотал гинеколог, сполз на траву, пышную голову прислонил к березовому стволу. – Кто бы говорил!

И закрыл глаза.

Ночью Марь Иванна не могла заснуть, ворочалась, прислушивалась к шороху лунного ветра в черных сосновых вершинах.

«Тошнит ее! – вспомнила Марь Иванна. – Гнилой воды нахлебаесси, быка затошнит, а не то что...»

Перед глазами ее возникла кроткая узкоглазая деточка. С рук ведь не спускала! Ведь вот, на этих вот рученьках выросла! Мать-то – что? Где она, мать-то? Фьють! И нету! Вот как с матерью-то обстоит! А ребенок хлипкий, еле родила, кормить толком не кормила, какое с нее молоко? Ацидофилин один, прости, Господи! Марь Иванна мысленно сплюнула в сторону Стеллочкиного ацидофилина. Пойтить посмотреть, как спит. Не раскрылась бы, ночи-то холодные. И добро бы поехать некуда, а так ведь, при родной-то даче, О-о-осподи! Дача-то на Николиной пустая стоит, пропадает. Родственница дедова живет, Лялька. Стерва, дальше некуда. Марь Иванна напялила телогрейку на халат, пятнистые ноги засунула в кеды. Пойтить посмотреть Наташечку. Не раскрылась бы во сне.

В палатке, где Чернецкая жила с еще одной девочкой, была одна только эта девочка, а Чернецкой не было. Когда всхлипывающая от заботы Марь Иванна протиснулась в щель, она сперва увидела густую черноту, потом в этой черноте всплыла пустая раскладушка любимой Чернецкой, потом другая раскладушка, полная ватным одеялом и толстой девочкой под ним. Косолапые ноги девочки не помещались на раскладушке и болтались поперек палатки, мешая Марь Иванне убедиться в том, что Чернецкой действительно нет и постелька ее не только пуста, но и вовсе не смята.

– Ты где? – забормотала Марь Иванна, отпихивая девочкины ноги. – Ты куда побегла?

Она судорожно ощупала пустоту, еще надеясь, не веря себе. Пустота не превратилась ни в горячие тонкие волосы, ни в гладкое личико, ни в ямочку на локотке. Осталась себе, черная и страшная, как была.

– В сортире, может? – вслух озарилась Марь Иванна. – Так ведь что б по ночам-то в сортир вставать? Отродясь у нас такого не было! Наталья! – громким шепотом выдохнула она. – Ты где?

Толстая девочка завозилась во сне, дернула ногой и зачмокала большими губами.

– Спи, спи! – шикнула на нее Марь Иванна, вдруг испугавшись, что отсутствие Чернецкой будет кем-то замечено. – Спишь и спи, чего расчмокалась! Сиську тебе надо?

Страх как обручем сдавил ей сердце, ноги затряслись. Марь Иванна выползла из палатки, опустилась на траву и стала шарить вокруг себя похолодевшими руками, словно Чернецкая была бусинкой или сережкой.

«В сортир!» – приказала она себе и, полная ужаса, заковыляла по тропинке.

Луна торопливо усмехнулась в старческое лицо Марь Иванны и, ничем не желая помочь ей в поисках Чернецкой, закрылась траурным шарфиком. Марь Иванна оступилась, сделала неловкий шаг прямо в крапиву, зажмурилась от боли, покрылась волдырями и тут же услышала тихий стон своей ненаглядной девочки и хриплое ее дыхание, такое хриплое, словно девочку душат.

– О-ой, о-ой, как мне плохо-о-о...

Маленькая фигурка Чернецкой, сидящей на корточках, так испугала Марь Иванну, когда она наконец разглядела ее в темноте, что Марь Иванна только пискнула по-кошачьи и тут же обхватила свою Чернецкую крепкими работящими руками.

– Тихо вы! – шепотом сказал за ее спиной низкий голос Орлова. – Вас только здесь не хватало!

Орлов был не похож на себя: босой, в одних спортивных шароварах, с легким, серебрящимся от луны пухом на груди.

– Кто тут? – прижимая к себе Чернецкую, продышала Марь Иванна. – Ты тут откудова взялся?

– Оттудова, – нахамил Орлов и забормотал: – Ее тошнит. Сначала было ничего, а потом вырвало. Там, в кустах. – Он махнул рукой в сторону.

– Наташечка, – взмолилась Марь Иванна, – может, у тебя, это, месячные пришли? От их тошнит? А ты давай отседа, проваливай, – вспомнила она про Орлова. – Проваливай давай! Тебе тут чего подслушивать? В сортир шел небось? Так и иди в сортир!

Чернецкая выдавила изо рта густую слюну, подавилась ею и громко заплакала.

– Пошел, пошел! – замахала руками Марь Иванна, – я кому говорю: пошел прочь!

– Наташа, – испуганно сказал Орлов, наклонившись к плачущей Чернецкой. – Ты что, хочешь, чтобы я ушел?

Чернецкая отчаянно закивала головой.

– Ладно, – мрачно сказал Орлов, – но я спать все равно не буду.

– Пойдем, моя любонька, – всхлипнула Марь Иванна, – это у тебя от воды. От гнили.

– Не от воды! – зарыдала Чернецкая, оторвав от лица руки и оборотив его, распухшее и неузнаваемое, к Марь Иванне: – Дура! Дура! Дура! Это не от воды! И нет у меня никаких твоих месячных! Дура!

Молния ударила в голову Марь Иванны, и в первую секунду она почти что ослепла от боли. Потом боль расползлась по затылку, а тело покрылось мурашками.

– Да! – вскрикнула Чернецкая. – У меня нет месячных! Не началось! Уже полторы недели! Нет, уже две! И не будет!

Марь Иванна зажмурилась и, чтобы не слышать крика, зажала уши руками. Черный лес внутри ее зрачков стал белым, потом залился чем-то оранжевым, заплясали в нем какие-то мухи, и в эту секунду только Марь Иванна вдруг все поняла.

– Что ты говоришь-то? – забормотала она, открывая глаза. – Как же это так? И что ж, я, значит, недоглядела? Ну куда мы теперь с тобой? Когда срам такой?

Маленькая Чернецкая содрогалась от плача.

– Сделай что-нибудь! – услышала Марь Иванна сквозь потрескивающую вату, которой словно бы набили ее голову, как наволочку. – Сделай! Я чувствую, что ребенок, я знаю, я чувствую!

Дикие эти слова привели к тому, что Марь Иванна опомнилась, подняла с земли свою горячую, как огонь, с мокрыми от слез волосами Наташечку и, дыша на нее чесноком, которым обычно лакомилась перед сном, натерев его густо на ржаную корочку, сказала:

– Сделаю все. Все путем сделаем. Не плачь.

Тут бедную Чернецкую наконец вырвало, и она успокоилась. Марь Иванна обтерла ей лицо и губы своим рукавом, поцеловала ее узенькие соленые глазки и, обнимая за плечики, довела до палатки.

Толстая девочка так и не проснулась, только тихо засвистела во сне, когда Марь Иванна уложила Чернецкую, подоткнула под нее одеяло, дрожащими руками пригладила ей волосы и, прошептав: «Спи уже, горе мое!», пошла к себе. Мысли ее разбежались по всему телу, страшные и серые, как крысы. «Стеллочке как сказать? Убьет. Ножиком пырнет, она такая!

А с Наташечкой что будет? Помрет Наташечка. Куда! Сама дитя, молоко не обсохло! Леонид, ясно, Стеллочку бросит. После такого сраму. Бросит, и поминай! Так. Нужно, значит, травить. Сколько он у ей там? Ну, недели три, не больше! Он и не прирос как следует!»

Тут Марь Иванна вспомнила, хотя и с неохотой, через силу, как покойный жених, прежде чем помереть, сделал ей ребеночка и она ходила по родной деревне – двадцать второй год, жрать нечего – вся зареванная, не знала, куда бежать от стыда, пока наконец бабка Медуница, сухонькая, желтая, как пчелка, в ветхом платочке, не дала ей разрыв-травы, побормотала над ее припухлым животом, налупила по нему как следует веником в баньке, и утром потекла из Марь Иванны черная кровища, захлестала, а заодно с кровищей-то он и вышел, ребеночек, младенчик этот, вытолкнуло его из нутра, махонького такого, страшненького. Хорошо хоть, одна в избе была, все на покосе.

А через месяц вдруг жених – раз! – и помер. Марь Иванна уж и лицо-то его позабыла. Помнила только, что кудрявый. Несколько раз они ей потом – жених с младенчиком – снились. Оба веселые. Бежали куда-то по васильках да ромашкам. Вроде как от нее вдвоем убегали.

Утром на следующий день Марь Иванна, не заснувшая ни на секунду, поднялась в пять, как обычно, наварила овсянки на оба класса, разлила ее, жидкую, пересоленную, по алюминиевым мискам, пощупала у Наташечки лоб, всунула ей, чтобы другие не видели, бутерброд с черной икоркой и побежала в деревенский магазин. К самому открытию. Женщины, стоявшие возле крыльца, ждали, пока привезут хлеб, были хмурыми и разговаривали мало. У продавщицы болел зуб, щека распухла, помада размазалась. Марь Иванна незаметно перекрестилась под кофтой и подкатилась к одной из старух, которая показалась ей сговорчивее прочих.

– Вот не могу нигде достать уксусу! – пожаловалась Марь Иванна. – А без уксусу хоть помирай!

– Уксусу? – прошамкала старуха.

– Уксусу, уксусу, – закачалась Марь Иванна, – хребет ломит, еле ноги таскаю!

– А что ж вам, дак, уксус-то? – тут же включилась колхозница помоложе и раздраженно всмотрелась в незнакомую Марь Иванну: – Вы, дак, что, с дач, что ли?

– С лагеря я! Со школьного! – охотно объяснила Марь Иванна. – Поваром тут у них. Подрабатываю. А котел с супом третьего дня подняла, двинуться не могу! Вот, думаю, разотру уксусом, так, может, отпустит. А то – хоть помирай!

– Вам, женщина, не уксусом, дак, надо, – рассердилась колхозница, – а к Усачевой. Чтоб та вам хребет размяла. Ну, дак, она могет. Она, дак, и не такое. К ней с других городов, дак, ездеют.

Дико заколотилось сердце внутри Марь Иванны: не поверило, чтобы так повезло. И чтоб с первого разу-то, О-оспо-о-оди!

– Дорого берет? – для отводу глаз поинтересовалась она. – Усачева-то?

– Ну, дак, с вас, городских-то, дак, конечно, не задаром. Рублей, дак, пять, может, и попросит. А может, нет. Кто ж ее знает? Вы, дак, пойдите, ноги-то есть.

– Куда идти? – жадно спросила Марь Иванна.

– Ну, дак, куда? К лесу идите. Сначала, дак, речка будет. Дак, она махонькая. Разуетесь, и всё. Мост, дак, всё нам не поставят, а старый загнил весь. А она махонькая речка у нас, вся усохла.

Выспросив адресок Усачевой, Марь Иванна так лихо припустилась к лесу, что старухи, ждущие в магазине хлеба, проводили ее злыми насторожившимися глазами. Изба Усачевой была едва ли не самой убогой во всей деревне. Черная, покосившаяся, с маленькими мутными окошками, она наполовину ушла в землю, и заросли высоких подсолнухов вперемешку с лопухами и крапивой защищали ее от прохожих.

Марь Иванна поднялась по сгнившему крылечку, вошла в темные сени с запахом прелой картошки и ведром позеленевшей от несвежести воды в ведерке, остановилась и прислушалась. Из избы доносился топот босых пяток и прерывистый ребячий голосок:

– Ишо, ишо! Ах ты, мой бородатенький! Ах ты, мой раскудлатенький! А-а-а, ты меня бодаешьсси? А ну, дак, я тебя хворостинкой? И-и-х!

Марь Иванна сделала глубокий вздох и толкнула осевшую дверь. Перед ее глазами вылупился из скисшего воздуха черный козел, на котором, заливаясь детским хохотом, сидела старуха и погоняла его хворостинкой. Другой козел, серый, поменьше, лежал на полу и равнодушно жевал пук травы, которая росла прямо из щели. Старуха, сидевшая верхом на черном козле, была маленькая, сгорбленная, щупленькая, без единого зуба, с распухшими, как у младенца, розоватыми деснами. Волосы ее растрепались, платок сбился на спину, голубые глаза так и искрились от радости. Вид этой наездницы так напугал Марь Иванну, что она тут же начала пятиться задом обратно в сени.

– Дак, заходь, заходь, – радостно прикрикнула на нее старуха, – апосля намилуемся. И-и-х, ты мой раскудлатенький!

Она боком соскочила с козла, высоко задрав драную юбку, и Марь Иванна с ужасом убедилась, что сумасшедшая старуха была без трусов, в одних только резиновых галошах на босу ногу.

– Ну, дак, и гуляйте! – приказала она козлам, живо подтолкнула их к сеням, а оттуда выгнала на улицу. – В огороде гуляйте! Ужо к вечеру, дак, тогда заберу вас в избу вечерять, на морозе не кину!

Марь Иванна тихонечко сплюнула от отвращения.

– Мужики мои, – счастливым детским голосом сказала старуха. – Борька да Сергунь. Сергунь помоложе, чернявенький, прилипнет ко мне – не оттащишь, а Борька – старый уже, злобоватый стал. Чуть что не по ему – у-ух! Забодает! Во какой!

Марь Иванна с опаской огляделась. Половину избы занимала огромная печь с лежанкой, на которой было набросано какое-то тряпье, по углам темнели отлакированные временем лавки. Иконы, украшенные бумажными цветами, были до того старыми, что и не разобрать, кого изображали.

– Чего пришла, девка? – спросила старуха у Марь Иванны. – Никак присушить кого хочешь? Наше дело молодое!

Левый глаз Марь Иванны со страхом уперся в растрепанную метлу, перевязанную красной шелковой ленточкой. Старуха визгливо засмеялась.

– Метлица! – с гордостью закричала она. – Ух, и метлица! Хошь, покажу?

И, не дожидаясь ответа, вскочила на метлу верхом, опять без стыда без совести задрала нестираную свою юбку и, хохоча, понеслась по избе от двери к окошку. Марь Иванна повернулась, чтобы уйти, убежать куда глаза глядят (привел же черт к ненормальной!), но страшная старуха вдруг прислонила метлу к стеночке и совсем другим, окрепшим голосом спросила у Марь Иванны:

– Вижу, чего пришла-то. – Она сморщила нос, несколько раз, раздув ноздри, втянула в себя воздух и быстро выдохнула его назад, как лошадь. – Чую. Взошло семечко.

– Какое семечко? – оторопела бедная Марь Иванна.

– Ну, дак, какое? – повторила старуха. – Мушшинино, вот какое. В бабу семечко попало, детку бабоньке наспало.

Тут Марь Иванна, забыв обо всем, близко пододвинулась к Усачевой, унюхала тяжелый, болотный какой-то запах, который густо шел от разгоряченного тельца с голубыми глазами, и всхлипнула ей прямо в растрепанные седые патлы:

– Могёшь? Она сама у меня дитя, четырнадцать годков только.

– Дак, чего? – спокойно сказала Усачева. – За деньги-то.

– Заплотим! – страстно откликнулась Марь Иванна. – Кто говорит! Заплотим! Все отдам за Наташечку-то! Освободи только! Когда приводить?

– А вот я дай погляжу, – сказала Усачева и, достав откуда-то из-под тряпья колоду засаленных карт, ловко разложила их на столе.

Марь Иванна следила за ней измученными глазами.

– Пацан, – умильно сморщившись, спела Усачева, – вот он, пацанек-то! Ишь ты, стоит, ножки раздвинул! А крепенький-то! А глазища-то! Ух! Цыган! Вот тебе, девка, мое слово: цыган!

– Освободи, – белыми губами прошептала Марь Иванна, живо представив себе, как внутри Наташечки стоит незнакомый цыган, раздвинув ножки. – Заплотим тебе. Всё бери.

– Дак, веди, – сказала старуха. – Мы с мужиками, – она кивнула головой за окно, где в синеве и зелени мирно паслись недовольные козлы, – мы с мужиками моими, дак, отвечеряем, апосля приводи. В восьмом часу приводи.

На семь была назначена репетиция пьесы Островского «Гроза», в которой – исключительно с воспитательными целями – роль Катерины поручили неуправляемой Анне Соколовой, а роль Варвары – умненькой и старательной Чернецкой.

– Эх, Варя! – говорила Анна Соколова, прижав к сердцу руки. Пышная коса ее сверкала, как золото. – Не знаешь ты моего характеру! Я, конечно, сколько можно, терплю, но если не смогу терпеть...

Неуправляемая Соколова никак не могла выучить текст классика Островского и предпочитала передавать образ своими словами. Такое несла – перед людьми стыдно.

– Галина Аркадьевна, – пробормотала Марь Иванна в белый от перхоти затылок Галины Аркадьевны. – Мне бы Наташечку забрать с репетиции-то. Голова у нее очень раскалывается. Весь день намучилась.

– Так это не ко мне, – сухо ответила Галина Аркадьевна, – я не доктор. Если у человека что-то болит, нужно обращаться к доктору, а не репетицию срывать.

– А мы щас прямиком в медпункт, к Лилян Степановне, – заторопилась Марь Иванна (Лилиан Степановна была лагерной медсестрой), – мы щас прям к ней. Даст нам таблеточек, температурку смерит. А то что ж так... Умучилась ведь...

– Чернецкая! – провозгласила Галина Аркадьевна и громко хлопнула в ладоши. Репетиция остановилась. – Тебе нужно пойти измерить температуру в медпункт. У тебя сильная головная боль, Чернецкая, это нехорошо.

Чернецкая увидела, как Марь Иванна подает ей знаки, и поняла.

– Извините, Галина Аркадьевна, – она прижала к вискам кулачки. – Если вы...

– У меня голова не болит, – мстительно отрезала Галина Аркадьевна. – Иди, Чернецкая, тебя ждут. Продолжайте без Варвары!

На сцене появился Михаил Вартанян со своими маслянистыми кудрями. Вартанян играл Тихона.

– Нэлза так, Ката, – волнуясь, заговорил Вартанян, – зачэм мамэньку огорчаэшь...

– Тиша! – закричала Соколова, с хохотом бросаясь на шею Вартаняну. – Миленький! Все в огне гореть будем!

– Ну, вот. – Белая, как мука, Галина Аркадьевна задохнулась. – Соколова идет в свою палатку. Вартанян идет в учительскую. Репетиция спектакля отменяется. Все остальные – на костер. Поём до отбоя. Нина Львовна, вы с нами?

Вартанян поплелся в учительскую палатку вслед за разгневанной Галиной Аркадьевной, а все остальные, опустив глаза, уселись вокруг костра. Нина Львовна передала гитару Орлову, который любил петь.

– Что-нибудь о войне, Гена, – шевельнув ноздрями, попросила Нина Львовна. – А то уж очень мы что-то тут все веселые.

«Над землей бушуют травы, – низким и чистым голосом негромко запел Орлов, – облака плывут, как павы, а вот этот, тот, что справа, это я...»

Нина Львовна насторожилась.

«Мама, ты мой голос слышишь: он все дальше, он все тише, голос мой...»

– Я, кажется, просила о войне! – вскрикнула Нина Львовна.

– Я о войне, – быстро отозвался Орлов, – вы же не уточняли... «Ах, зачем война бывает, ах, зачем нас убивают...»

– Я просила не это! – Нина Львовна телом чувствовала, что просила не это. – А вот что: «Спросите вы у матерей, спросите у жены моей...»

– Я не женат, – удивленно ответил Орлов и опустил гитару. – Это Евтушенко женат...

Одновременно со склокой вокруг огня, который пытался дотянуться до еловых верхушек и стать частью неба, странный разговор происходил в учительской палатке, где Галина Аркадьевна, зачем-то рывком стянувшая с себя шерстяную кофту и оставшаяся в одном легком, с крылышками вместо человеческих плечей, сарафанчике, шумно дыша, говорила большому, застенчивому Вартаняну:

– Миша, я понимаю, что не ты был зачинщиком этой безобразной выходки! Поэтому именно к тебе я и обращаюсь! – Она приложила ладонь к его голому мохнатому локтю. – Не ты был зачинщиком! – Лоб Галины Аркадьевны побежал красными волнами. – Но ты должен сейчас ответить мне как комсомолец! Почему ты молчишь, Вартанян?

– Я не зачынщык, – не поднимая глаз, сказал Вартанян, – мы пашутыли немного, мы пасмеялысь...

– Как посмеялись? – задохнулась Галина Аркадьевна. – Как вы, комсомольцы, можете так шутить? Я не хочу, чтобы ты так шутил!

Вартанян напрягся. Локоть его стал горячее утюга.

– Не шути так, – залепетала Галина Аркадьевна, – ничего из этих шуток не выйдет...

Она облизнула пересохшие губы. Вартанян переступил с ноги на ногу.

– Стыдно тебе? – еле слышно забормотала Галина Аркадьевна, сжимая его ладонь вспотевшими пальцами. – Тебе хоть капельку стыдно?

– Мне совсэм стыдно, – простонал Вартанян. – Я так нэ буду...

– Вот видишь, – Галина Аркадьевна пошатнулась, Вартанян испуганно поддержал ее. – Видишь? – закрыв глаза, повторила Галина Аркадьевна. – Все могло бы быть так хорошо, а ты попал под влияние Соколовой...

Волосатый Вартанян тоскливо молчал. Рука его, поддерживавшая шаткую Галину Аркадьевну, все еще покоилась на левом крыле сарафана. Галина Аркадьевна глубоко вздохнула, словно опоминаясь ото сна, и новыми, светлыми, счастливыми глазами посмотрела на него.

– Ну, иди, мы с тобой еще поговорим.

Марь Иванна с Чернецкой бежали по деревне.

– Ты только не пугайся, – бормотала Марь Иванна, – все, Наташечка, сделаем, все из тебя это выльет...

Срам этот... И папе с мамой не скажем, и никто нам не нужен. У тебя, слава Те, Осподи, Марь Иванна есть, я за тебя землю есть буду. Ну, почем ты этого наделала, почем наворотила, ума не приложу! На кой ты ляд, детёнка моя, завалилась под него, ума я не приложу!

– Марь Иванна, – истерически закричала Чернецкая, – я не хочу об этом разговаривать! Ты что, не понимаешь? Ты что, глупая, что ли?

Усачева сидела на развалившемся крылечке избы, курила самокрутку. Козлы с задранными к небу бородами стояли рядом.

– Ага! – тонким своим, детским голосом закричала Усачева. – А мы заждалися! Весь табачок урасходили! Думкали, может, переблазнили вы, может, дак, оставите, пацанка-то! А пущай, дак, живет! А вы заявилися! Ну, дак, проходьте в избу!

У Марь Иванны мелко задрожал подбородок.

– Пошли, Наташечка, не бойся.

– Ну, дак, ты, милка, показывай телеса-то! – приказала между тем Усачева, рассматривая своими голубыми глазами маленькую перепуганную Чернецкую. – Давно ты, дак, баловаться зачала? С парнем-то, давно зачала?

– Три недели, – твердо сказала Марь Иванна и грудью заслонила ребенка от Усачевой. – Как в лагерь переехали. Мой грех. Дай травы или чего там попить. Только чтоб месячные пришли.

Усачева положила на нежный живот Чернецкой свою сморщенную темную руку.

– Молодка-то сладкая, – пробормотала она. – Чистый сахар. Дак, с медухой. Моим мужикам, – она кивнула на равнодушных козлов, – и то, гля, полюбилась. Такая в девках долгонько не загуляет. Кудай! Враз наскочут. Ну, дак, а ты, девка, решай: можно, ить, по-разному гнать. Перво дело – травы попить. Три дня – и нету. Друго дело: Варваре-великомученице поклонюсь, ночку на коленках проваляюсь, ну и ишо там кому словечко шептану. Это, дак, долгий срок заберет, тут я за глаза ничего не скажу. Ну и, значит, самый верный путёк. Такой путёк, что как у доктору: плоть отворотить, дак, и выманить. Крючочком. Тоже могём. Выбирай, дак.

– Крючочком – нет, – прошептала Марь Иванна, – этого я не попущу. С Варварой я тебе не верю. Ты не Варваре-великомученице, ты черту своему поклоны бить станешь, это уж я и так вижу. Тут больших мозгов не требуется. Раскусить вас, ведьмаков эдаких. А травы давай. Три дня, говоришь? Вот и давай нам травы своей на три дня.

– Зря крючочка боишьсси. На моем крючочке полдеревни живут, хлеб жуют. Р-р-раз, и готово! А могём, дак, и травой. Отсыплю тебе травушки, заваришь и, дак, глот, глот... Маленькими, дак, глотышками, до самого донцу.

– А я не умру? – испуганно прошептала Чернецкая.

– Все помрем, милка, – спокойно отозвалась старуха Усачева, – никто тута не останется. Кудай! На то тебе и землю, значит, придумали, чтоб по ней побёгши-побёгши да и спать полёгши. На спокой, дак.

– Ты чего говоришь? – ахнула Марь Иванна. – Зачем ты ее пужаешь?

– Дак, я не пужаю, – Усачева достала небольшой ярко-голубой, в цветочках, сатиновый мешок, развязала тесемку, высыпала на ладонь горстку сухой травы. – С нонешнего нашего дела не помрешь. У тебя ишо этих цыганят в нутре будет, всех не выродишь!

Чернецкая закрыла лицо руками.

– Стыдиться неча, – приговаривала Усачева, поднеся ладонь с травой к самому своему носу и шумно обнюхав ее. – Свежая. Сгодится. А то, если старой дать, дак, кусок, могёт, выташшим, а кусок, дак, в нутре позабудем. Ручку там, а то и ножку.

Чернецкая разинула рот и начала задыхаться. Крупные, как спелый жемчуг, слезы катились по ее розовым щекам.

– Не пужайся, не пужайся, милка, – Усачева ссыпала траву в чугуный горшок, залила водой из ведра, перемешала. – Печь я, дак, для вас затоплять не стану, у вас спичечек побольше мово там, в городе-то. А слова наскажу, какие надоть, и в бутыль солью, а дома, дак, в кастрюль перелейте, на огонь постановьте, и пущай кипит. С час, дак, а то поболе. И три дня пущай пьет. Маленькими, дак, глоточками. Глот, глот... Покамест плоть не отворится.

Прижав горшок к груди, Усачева отвернулась от Марь Иванны и Чернецкой и принялась бормотать что-то, то глядя в пол, себе под ноги, то быстро взбрасывая глаза к потолку. До Марь Иванны и Чернецкой доносились обрывки ее бормотанья.

«Прибери, Михайло, кособрюхий, тебе подарочек, свечки огарочек... А мене окаяние, от людей наказание... Дуй – задуй – уф, уф! Да тебе, кособрюхому, угощеньице, а мене, красной девице, опрощеньице...»

Наконец Усачева кончила бормотать, несколько раз перекрестилась на самую темную и большую икону на стенке, поклонилась ей, перелила содержимое из горшка в бутыль и передала бутыль в крепкие руки Марь Иванны. Дрогнувшие, однако, и ото всего пережитого ослабевшие.

В лагере как раз протрубили отбой, когда Марь Иванна с Чернецкой возвратились и сразу пошли на кухню, где Марь Иванна опять зажгла плиту, вскипятила огромный чайник, в котором по утрам варили какао, а по полдникам кофе, и через час принесла в палатку к Чернецкой чашку кипящей, темной, кисло пахнущей отравы. Отпила сперва сама, а потом дала – глот, глот, как учила Усачева – своей бедняжечке. Душа ее от этого успокоилась, но не до конца, к сожалению, потому что любовь к Чернецкой и страх за ее тоненькую, с нежной шейкой и темными ресничками жизнь так мучил Марь Иванну, что часа в три утра она не выдержала, подкралась к палатке мальчиков, поскреблась в нее и громко продышала в щель:

– Гена! Орлов! Геннадий! Выйди на улицу, помощь нужна!

Легкий, широкоплечий Орлов вскочил так, как будто и вовсе не спал, и, в своих спортивных шароварах, с серебристым от луны пухом на груди и предплечьях, предстал перед зоркими глазами Марь Иванны.

– Иди, я тебе чего покажу, – дрожащими губами выговорила Марь Иванна и, достав из-под передника узкий блестящий нож, которым обычно с помощью дежурных комсомольцев рубила на кухне капусту для борща, показала его Орлову.

От неожиданности Орлов отшатнулся.

– Вот, – удовлетворенно сказала Марь Иванна. – По тебе плачет. Жизнь твоя воробьиная мне задарма не нужна, не бойся. А инструмента твоего, – Марь Иванна сделала ударение на «у», – я тебя враз лишу. Управляйся потом, как знаешь. Хошь волком вой. Один разик ее хапнешь руками своими погаными – и, значит, поминай как звали. Ездий тогда на курорты. (Курорты очень запали в сердце Марь Иванны за долгую дружбу с болезненной Любовью Иосифовной, покойной женой старика Чернецкого.)

Орлов пожал плечами.

– Марь Иванна, как она? – прошептал он. У Марь Иванны просияли глаза.

– Стервец ты, Геннадий, – всхлипнула она. – Тебе-то, стервецу, что сделалось? Дрыхнешь себе, ногами сучишь. А она?

– Марь Иванна, – еще тише спросил Орлов. – У нас что, правда ребенок будет?

Марь Иванна так и отпрыгнула, так и замахала на него обеими руками.

– Да ты чего мелешь-то! Да откуда ты таких слов-то понабрался, подлец ты и мерзавец!

– Будет или нет? – повторил Орлов, опуская глаза.

– Ничего тебе не будет, – прошипела Марь Иванна. – А еще разик рядом с ней увижу, отрежу сам знаешь чего, и пущай меня потом судят! Мое слово тебе последнее.

В пятницу полил опять дождь, на поле никто не вышел. Комсомольцы ходили скучные, голодные, не знали, куда себя девать. Галина Аркадьевна и Нина Львовна решили сводить девочек в баню. Девочки засуетились, напихали в рюкзаки бутылки с бадузаном, тюбики с кремом, расчески. Чернецкая сослалась было на нездоровье, но толстая ее соседка, которой Марь Иванна третьего дня в сердцах пожелала сиську, громко спросила при всех: «У тебя ведь задержка, Чернецкая. Почему же тебе нельзя в баню?» И Чернецкая опустила ресницы, собралась как миленькая. До бани оказалось километра два с небольшим. У кого были зонтики, объединились с теми, у кого не было. По две-три девочки под купол. Галина Аркадьевна и

Нина Львовна крепко взялись под руки, раскрыли большой мужской черный зонт, пересчитали девичьи головы и, лицемерно спросив: «Что будем петь?», отправились.

«Ромашки спрятались, поникли лютики, – громко и нахально завела Соколова, – когда-а-а вернула-а-а-сь я под о-о-отчий кров... Зачем вы, девушки, кра-а-а-сивых любите...»

На полпути отряд обогнала телега с пустыми молочными бидонами, громыхающими, как барабаны. На телеге, уронив на грудь кудрявую пшеничную голову, ехал Федор Подушкин. Нина Львовна и Галина Аркадьевна приостановились. Лошадь Подушкина приостановилась тоже. Подушкин покраснел, как девушка.

– Если ты, Федор, – громко сказала Галина Аркадьевна, невольно сравнив золотушного Подушкина с налитым, как спелый гранат, волосатым Вартаняном, – надеешься, что все так и обошлось, то ты напрасно надеешься. Юля Фейгензон поверила тебе как другу, как товарищу...

Подушкин хмыкнул и удивленно закрутил своей пшеничной головой.

– А ты повел себя как израильский агрессор! – захохотала неуправляемая Соколова и тут же зажала рот обеими ладонями.

– Для Соколовой баня отменяется! – быстро закричала Нина Львовна, вся запылав. – Соколова, ты сейчас вернешься одна в лагерь, и вечером мы поговорим на линейке!

– Подушкин, подвези, а? – вылезая из-под блестящего зонтика, попросила Соколова. – А то я до нитки...

– Никаких «подвези»! – в один голос взвыли Нина Львовна и Галина Аркадьевна. – Ногами пойдешь! Пешком и ногами! Вот так!

Соколова развернулась и зашагала обратно в лагерь.

– Нет! – спохватилась Нина Львовна. – Нет, нельзя ее так отпускать! Мы, Галина Аркадьевна, за нее головой отвечаем! Головой! Да! Нет! Нельзя! Значит, кому-то из нас нужно вернуться с ней!

– А баня-то? – нахмурилась Галина Аркадьевна. – Мы ведь теперь долго, Нина Львовна, в баню не попадем.

– Хорошо. – Нина Львовна до крови закусила губу – После бани. Разберемся с тобой, Соколова. После бани.

Отдохнувшая лошадь, на которой Подушкин в качестве приработка к материнским трудодням развозил молоко с фермы, вдруг заскучала от человечьей перебранки и, подняв изумруды брызг, понеслась прочь по ухабам. Подушкин чуть не выпал из телеги.

– Но ты учти! – как заведенная, проорала ему вслед Галина Аркадьевна. – Учти, Подушкин!

– Сучка, – всхлипнул далеко отнесенный раздражительной кобылой Подушкин, – чтоб тебя разорвало, училка поганая! «Учти»! Сама «учти», стерва обосранная! Приеду в Москву, подкараулю где надо, будешь знать! Дай только покамест деньжат наскребу! Думаешь, ты со мной справилась! Я от Юльки задарма не отступлюсь, хоть она жидовка, хоть кто! «Учти»!

Несмотря на то что бедную смуглую Фейгензон удалили из лагеря, приняв все меры, чтобы она не распространила свое развратное влияние на остальных комсомольцев, Подушкин ее полюбил и, как первую свою на свете женщину, все еще не мог забыть. Происхождение Фейгензон его, по всей вероятности, тоже не смутило, потому что никаких других евреев Подушкин в своей жизни не видел, радио слушал мало, телевизора у них с матерью не было, а то, о чем спозаранку бубнили в школе, пропускал мимо ушей.

«Было б, конечно, получше, – думал Подушкин, – чтобы Юлька была как все, а не жидовкой, но уж теперь пусть как есть. Раз у нас любовь».

В планы его входило накопить денег, приобрести голубой в красную полоску галстук в соседней деревне Михалёво и в этом галстуке заявиться прямо в Москву. Адреса Фейгензон он не знал, но знал телефон ее тети, Софьи Марковны, которая работала в газетном киоске на Площади трех вокзалов и там же неподалеку жила. Фейгензон, когда они обсуждали каждый

свою родню, сказала Подушкину, что она больше всего уважает эту самую тетю Марковну (Подушкин произносил «Морковну») и, если дома уж совсем станет невмоготу, сразу уйдет к ней на Площадь трех вокзалов.

«У тетки этой запросто перекантуем, – легкомысленно думал Подушкин, – раз она такая добрая. А перед армией распишемся. Чего тут осталось? Четыре года всего. Ждать меня с армии будет».

После насильственного отъезда Фейгензон Подушкин целую неделю страшно выпивал со взрослыми парнями и громко выкрикивал гадости в сторону московского лагеря, но потом почти успокоился и начал копить деньги на голубой в красную полоску галстук. Брошенная вслед его телеге угроза Галины Аркадьевны так сильно разозлила от природы миролюбивого Подушкина, что он тут же решил отомстить.

«Пургену куплю, – решил Подушкин, – и подсыплю. Ягод пойти набрать. И чтобы ей, значит. Ягодок. Похреновее».

Пурген, как безотказный способ мщения, стал известен малообразованному Подушкину почти случайно: прошлым летом они с матерью ходили убирать дачу, живописно расположенную в пяти километрах от Михалёва в высоком сосновом лесу, внутри которого зимой и летом стоял прозрачный золотой свет. На даче поселялся иногда знаменитый художник – толстый, в большом, местами полысевшем пиджаке, и Подушкин услышал разговор его сына-подростка со своим товарищем, тоже подростком, но чуть постарше. Ни сын художника, ни его товарищ не обратили на Подушкина никакого внимания, а может, и наоборот, обратили – кто их разберет? – только разговаривали они так, будто Подушкина вовсе не было в комнате.

– Берешь пачку, толчешь, чтобы оно как пыль стало, совсем мелко, и всыпаешь. Ничего на вкус не чувствуется. Да и полпачки хватит. Она у меня и с полпачки забегала. Даже и с четверти пачки. Продается без рецепта, плевое дело.

«Нет, в ягоды не годится, – вспомнив этот разговор, решил повеселевший Подушкин, – раскусит небось. Скажу Вальке, пусть, дак, варенья наварит. Или пирога. Снесет в лагерь. Как раз на праздник. Всех же приглашают, а мы, дак, с подарком. Деньги есть, можно, дак, и потратиться».

Стегнул лошадь кнутом и взмыл над дорожной грязью, запев веселую и народную песню пустыми своими бидонами.

Баня оказалась маленькой, темной, пахла гниющим деревом, и мылись в ней, кроме пришедших московских, всего четыре женщины. Трое были с распущенными мокрыми волосами, а на голове у четвертой болталась плотная вязаная шапка. Женщины подобрались худые, неприветливые, с вялыми лиловатыми грудями. Увидев чужих, девочки застеснялись, прикрылись тазами.

– Начинайте мыться, – строго сказала Галина Аркадьевна и, переглянувшись с Ниной Львовной, стянула с себя блузку.

Нина Львовна нахмурилась, села на лавочку и принялась расшнуровывать тапочки. Никто не знал, что будет дальше. Представить себе, что Галина Аркадьевна и Нина Львовна через пять минут окажутся голыми и их можно будет увидеть и сзади, и спереди, и они так же, как все остальные, намылятся серым банным мылом, запенятся, стеганут друг друга вениками по ребрам, – такое в головах не укладывалось.

– Чернецкая и Аленина! – скрывая смущение, закричала Нина Львовна. – А вы что расселись? Вам особое приглашение нужно?

Маленькая Чернецкая, оказавшаяся в бане без Марь Иванны, которая, скрипя зубами, варила на весь лагерь макароны по-флотски, глубоко вздохнула и расстегнула крошечные перламутровые пуговицы джинсовой курточки. Под курточкой оказалась кружевная синяя маечка.

Чернецкая сняла маечку. Лифчик тоже был синим и расстегивался спереди. Девочки опустили глаза.

– Я ж говорила! – громко сказала толстая соседка Чернецкой по палатке. – У нее все такое!

Галина Аркадьевна, стараясь не смотреть в сторону синей и кружевной Чернецкой, стояла посреди раздевалки, вытянув чешуйчатую шею, особенно длинную без одежды, и делала вид, что спокойно расчесывает волосы. Нина Львовна наклонилась над лавочкой и, вздрагивая открывшимися всем ягодицами, аккуратно складывала стопочкой свои незатейливые вещи. Лена Аленина – худенькая, похожая на рыбью косточку, с плохими зубами девочка – сняла только кеды. Босые, очень белые, костлявые ноги ее почему-то притянули к себе внимание педагогов, а сама Аленина осталась при этом в тени, и никто, даже внимательная Галина Аркадьевна, не заметил, что глаза у Алениной стали мокрыми и сморщенными.

– Раздевайся, Аленина, – приказала голая Нина Львовна. Шрам на ее животе вспыхнул. – Нам здесь всю жизнь топить не будут!

Аленина покачала головой, повернулась и, сгорбив узенький хребет, пошла к выходу.

– Я кому сказала, Аленина! – закричала Нина Львовна, но было уже поздно: Аленина крепко затворила за собой дверь.

– Ой, да я догоню! – вскрикнула Соколова и, вся золотая, белоснежная, розовая, с огромным рыжим сиянием волос на затылке и таким же, только маленьким и пушистым, рыжим сиянием в низу живота, не дожидаясь разрешения, обмоталась махровым китайским полотенцем – черноголовые павлины на оранжевом поле – и бросилась догонять ушедшую в непробудный дождь босую Аленину.

Нина Львовна и Галина Аркадьевна решили быстро вымыться и самостоятельно, без помощи ненадежной Соколовой выяснить, в чем дело. Аленина была молчуньей и, как считали они обе, себе на уме. Отец Алениной женился недавно на матери Чугрова, на ком женат был отец Чугрова и был ли он вообще, никто не знал, но теперь на родительских собраниях отец Алениной сидел в качестве отца Чугрова, а со стороны Алениной сидела бабушка, бывшая теща этого самого отца, потому что мать Алениной, узнав, что ее муж ходит теперь на собрания в качестве отца Чугрова, больше в школе не появлялась.

Краснея, серая обычно Аленина становилась ярко-пунцовой, как клюковка. Росту она была маленького, еще меньше Чернецкой, а Чугров, получивший на ее, можно сказать, костях и муках тщательно выбритого отца, возвышался надо всеми, как пожарная каланча, и умел играть на фортепиано. Совсем недавно, в конце мая, Чугров вдруг признался неуклюжему Лапидусу, что влюблен в Аленину и теперь глаз с нее спускать не будет. И не спускал. Прожигал ее, бедную, пунцовую, с плохими зубами, у которой мать не приходила в школу даже на новогодние родительские вечера, а посылала вместо себя аленинскую бабушку, странную, кстати сказать, старуху, потому что у нее вовсе не было никакого подбородка и впалый рот как-то сам собою разевался на шее, словно и был отверстием не на лице, а именно там. Чугров смотрел на Аленину мутными от нежности зелеными глазами. Дома у него жил теперь отец, и отец этот сидел на новом диване, проверял у Чугрова уроки и слушал, как Чугров играет на фортепиано. А потом приходила мать, и отец, приподнявшись с нового дивана, подставлял ей тщательно выбритую щеку. Они были семья. А у Алениной бабушка капала валокордином на половинку сахара, сахар размокал и желтел, бабушка, закрыв глаза, разевала свой рот, расположенный прямо на шее, и, задыхаясь, разжевывала половинку размокшего сахара. Потом ей становилось лучше, и она, подозвав хрупкую, как рыбья косточка, внучку Аленину, говорила ей этим пропахшим валокордином, несчастным ртом:

– Подлец! И правильно, что мамочка его знать не хочет! И ты не смотри в его сторону! Подлец!

Может быть, сейчас, в бане, когда полногрудая, узкоглазая Чернецкая сняла синюю курточку и оказалось, что лифчик у нее тоже синий и расстегивается спереди, а не сзади, как у всех, может быть, это и стало последней каплей, которую не выдержало надорванное сердце костлявой Алениной, и она ушла куда глаза глядят, босая и плачущая, в тренировочном, с пузырями на коленях, вылинявшем костюме. Ни Аленина, ни обмотанная черноголовыми китайскими павлинами Соколова не возвращались очень долго, и тогда Нина Львовна, голая, с голой Галиной Аркадьевной, которые именно из-за этого своего состояния никуда не могли выйти, будучи и мокрыми, и к тому же намыленными, очень разволновались, начали как попало плескать на себя кипятком из огромного чугунного черного чайника, на ушах у них, как вязаные оренбургские платки, повисла мыльная пена, и Нина Львовна сквозь жгучий пар кричала до неузнаваемости изменившейся без одежды Галине Аркадьевне:

– Я говорила, что это добром не кончится! Я говорила, что Чугрова нужно послать в Артек! А Аленину отправить с бабушкой к родственникам, как они просили! Я говорила!

– При чем здесь Чугров! – выдирая из себя расческой волосы одной рукой, а другой намыливая поредевшую голову, отвечала задыхающаяся, похорошевшая от воды Галина Аркадьевна. – У Алениной ужасные наклонности! Она тяжелый, практически неисправимый подросток! И это то, что я говорила!

Когда высокая, с растрепанными рыжими волосами, белоснежная Соколова ворвалась наконец обратно в баню, выяснилось, что Аленина ушла, слушать ничего не стала, сидит сейчас, наверное, на станции и ждет электричку, чтобы уехать в город, а в лагерь она больше не вернется.

– Строиться! – выкатывая белки, закричала Нина Львовна. – Всем вытираться и строиться! Как есть! В мыле! Пусть! Вытираться, строиться и одеваться! Строиться! Ни минуты не терять! И это комсомольцы! Позор! Ее же милиция заберет! Босую!

Босая Аленина действительно уехала в город, села на электричку и укатила, а взмыленные от погони ее одноклассницы вместе с Галиной Аркадьевной и Ниной Львовной остались ни с чем. Под дождиком, на деревянной платформе, с двумя разрумянившимися во сне, спящими пьяными людьми возле лавочки. Нина Львовна была права, когда сказала, что нужно немедленно заявить в милицию, но и Галина Аркадьевна тоже была права, когда напомнила ей, что одна заявка в милицию уже была, и совсем недавно. Решили сделать вот что: дозвониться со станции в Москву, в квартиру Алениных, и сообщить, что она едет в город. Тем же самым вороватым бегом, не сбавляя темпа, понеслись под открытыми зонтами в лагерь, чтобы посмотреть в классном журнале телефон Алениных. Пока суд да дело, плюс один автомат не работал, а второй оказался рядом с почтой, а почта от станции – еще минут десять бегом, а если пешком, то и тридцать, – короче, когда наконец дозвонились, то нарвались на бабушку, которая исступленно рыдала и еле смогла прокричать им, что ее дочке только что позвонили из психдиспансера города Мытищи, куда прямо с поезда доставили хрупкую, истощенную Аленину, оттого что она, оказывается, прямо в поезде начала страшно кричать и кататься по вагону. И, прорыдала бабушка, дочка ее уже отправилась туда, в Мытищи, в психдиспансер.

– Ужас, – сказала Нина Львовна, положив трубку. – Больной ребенок. Плюс, конечно, распущенный. Мы абсолютно ни при чем. Здесь будет заключение врача.

– Да, – кивнула Галина Аркадьевна, чувствуя, как что-то закипает в затылке. – Нужно все-таки сообщить ее отцу.

– Отцу? – Нина Львовна неуступчиво выкатила белки. – Какому?

– Ну, этому, – выразительно понизив голос, ответила Галина Аркадьевна, – ну, отцу. Чугровскому.

– Ну, не сейчас, – решила Нина Львовна. – А послезавтра. Пусть он сначала приедет к нам на праздник. На закрытие лагеря. Чтобы все было как ни в чем не бывало. А после праздника, если он заметит, что Алениной нету, тогда сообщим. Это семейные дела.

– Ну хорошо. Давайте так, – согласилась Галина Аркадьевна и потерла затылок ладонью.

Вернувшись в лагерь, вымытые, с мокрыми головами девочки, у которых от длинных пробежек – от бани до станции, со станции до лагеря и обратно на станцию – все мытье с бадузаном вместе пошло насмарку, тут же рассказали мальчикам про Аленину, и Чугров, покрывшись бурыми пятнами волнения, ворвался в палатку к Нине Львовне и Галине Аркадьевне с криком:

– Это правда?

– Что – это? – вскрикнула Галина Аркадьевна, которая как раз собиралась пойти в лес, чтобы почистить себе зубы на ночь.

– Про Аленину? – чуть не разрыдался нервный и артистический Чугров. – Про Лену?

– Успокойся, Чугров, – мягко попросила вставшая с раскладушки Нина Львовна и поправила свою левую щеку, потому что слегка отлежала ее. – Лену Аленину все равно нужно было показать врачам. Она плохо учится, невнимательна на уроках, опаздывает. Лилиан Степановна давно подозревала у нее глисты.

– Кого подозревала? – оторопел Чугров. Галина Аркадьевна сделала Нине Львовне гримасу и близко подошла к измученному Чугрову.

– Сергей, – сказала Галина Аркадьевна, – ты думаешь, что любишь Лену. Но ты не знаешь, что такое настоящая любовь. Настоящая любовь – это когда тебе хочется летать, когда ты жизни не представляешь себе без этого человека, когда у тебя отовсюду вырастают крылья. И вот когда к тебе придет такая любовь, ты сразу поймешь, что Лена Аленина не тот человек, с которым ты хочешь связать свою жизнь. Потому что у человека одна жизнь, Сергей. Запомни мои слова. Одна.

Черти вдруг заплясали в зеленых глазах Чугрова, и он тоненьким, дурашливым голосом пискнул:

– А глистов много?

И бросился вон из учительской палатки.

В воскресенье солнце хлынуло на землю с такой силой, что засверкала последняя, самая незаметная букашка, которой, может, и жить-то осталось под этим солнцем день-два, не больше. На лицах восьмиклассников, выстроившихся на линейку, была явная радость, что сегодня именно закрытие, а не открытие лагеря и завтра в это время уже подадут автобус, а солнца станет еще больше, еще долго будет хлестать из открытого неба этот ослепительный желтый огонь, и начнутся другие дни, без линейки и надрывного горна, где не захочется умирать, убегать, прятаться, да и, вообще-то говоря, смерть до поры до времени находится в густой темноте, а внутри человеческого сердца располагается только жизнь, со всеми ее сверканьями.

Марь Иванна вопросительно посмотрела на Чернецкую, которая задумчиво шла навстречу ей по тропиночке.

– Живот-то не болит, Наташечка? – спросила Марь Иванна. – Не пришло у тебя?

– Тянет немножко, – жалобно ответила Чернецкая. – Но ничего нет.

«Ну, помогай Бог! – мысленно перекрестилась Марь Иванна. – Она и сказала так, что через дней пять придет, Усачева-то. Все, значит, правильно».

Про Аленину и Фейгензон решили вообще не вспоминать, а закрыть лагерный сезон весело, с огоньком, ветерком, дружной песней и вечерним костром до самого неба. К полудню начали стекаться со станции родители с большими сумками, вспотевшие. Некоторые приехали даже на машинах, потому что к этому лету наша школа была уже не самая обычная, а полгода назад из самой обычной превратившаяся в специальную английскую и даже по этому поводу поменявшая свой прежний номер «37» на совершенно другой номер – «23». В прежней нашей тридцать седьмой школе все было очень просто и даже скудно, а в новой, двадцать

третьей, начали заводить великолепные порядки, – приглашали на праздники иностранцев из дружественных стран, ввели уроки ритмики и приняли в оба класса – «А» и «Б» – несколько новеньких, у которых родители ездили за границу, а некоторые родители так и вообще там, за границей, жили и работали. Отсюда и кофточки у Людмилы Евгеньевны, директора. Отсюда, конечно, и машины.

Праздничный концерт придумали поделить на два отделения: в первом комсомольцы покажут отрывок из пьесы Островского «Гроза» с Вартаняном, Соколовой, Чернецкой и сестрами Померанцевыми в главных ролях, потом Чернецкой и Ворониной будет исполнен индийский танец девушек, собирающих урожай индийского риса, затем Лапидус и Семененко выступят с сатирическим номером вроде Тарапуньки и Штепселя, потом будет небольшой перерыв и сразу же второе отделение, где на сцену выйдут родители со своей веселой родительской самодеятельностью, после чего, наконец, все вместе – дети и родители – запоют «Синий троллейбус». Так было задумано, и на это приехали посмотреть директор Людмила Евгеньевна со своим новым другом, имени которого не знали даже Нина Львовна с Галиной Аркадьевной, Роберт Яковлевич, учитель истории, с полной, симпатичной, но очень какой-то усталой даже на свежем воздухе женой Симой Самойловной, Зинаида Митрофановна – волосы на прямой пробор и держит крепко за руку внучку Танечку трехлетнюю, оставшуюся по непонятным причинам без отца дочкину дочку, преподаватель физкультуры Николай Иванович, только что хлопнувший холодного пивка на станции, ну и, конечно, гости нашей специальной английской показательной школы номер 23: товарищи из роно и товарищи из Дворца пионеров. Всем товарищам хотелось провести воскресенье на природе, так, чтобы с обедом на полянке, а вечером песни у костра, где, может быть, даже придется с кем-нибудь и пообниматься в еловой прохладе, под медленно гаснущими над головой острыми искрами. С какой-нибудь тоже пассажиркой из синего троллейбуса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.